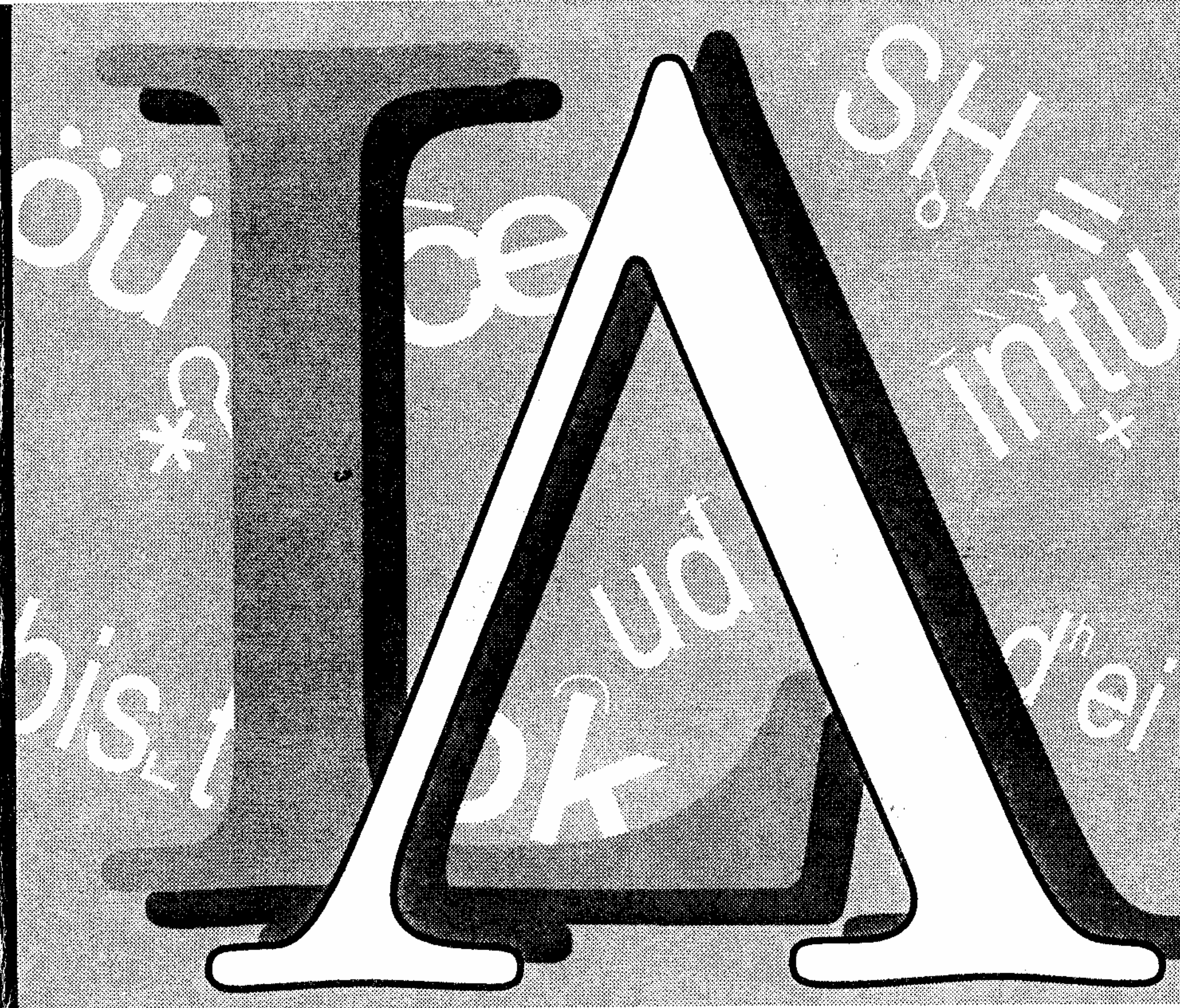


РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МОСКОВСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



MOSCOW JOURNAL OF LINGUISTICS

1

9

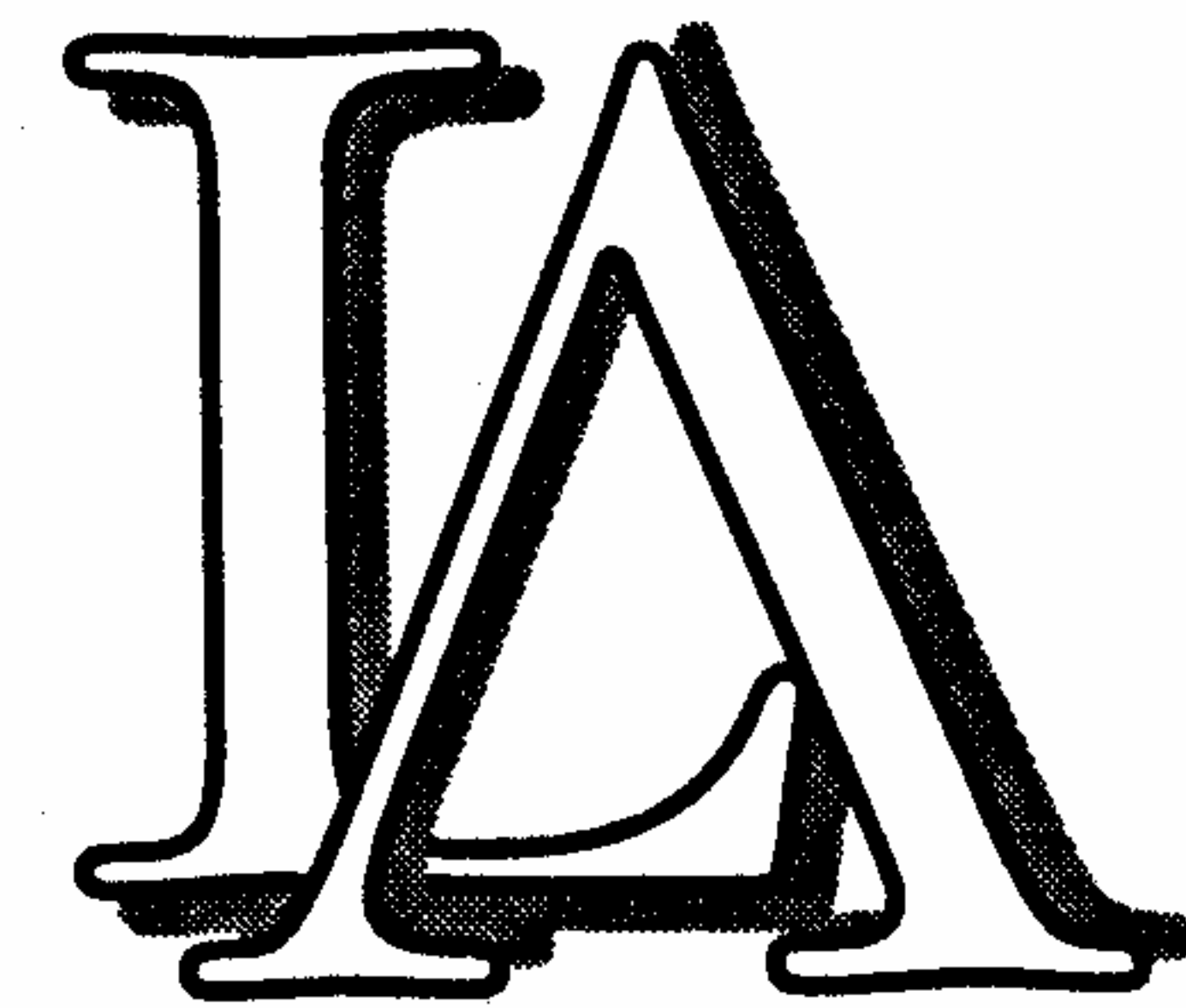
4

9

8

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МОСКОВСКИЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ



MOSCOW
JOURNAL
OF LINGUISTICS

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

А.Н. БАРУЛИН

М.А. КРОНГАУЗ

Е.В. МУРАВЕНКО

И.А. МУРАВЬЕВА

Н.В. ПЕРЦОВ
(главный редактор)

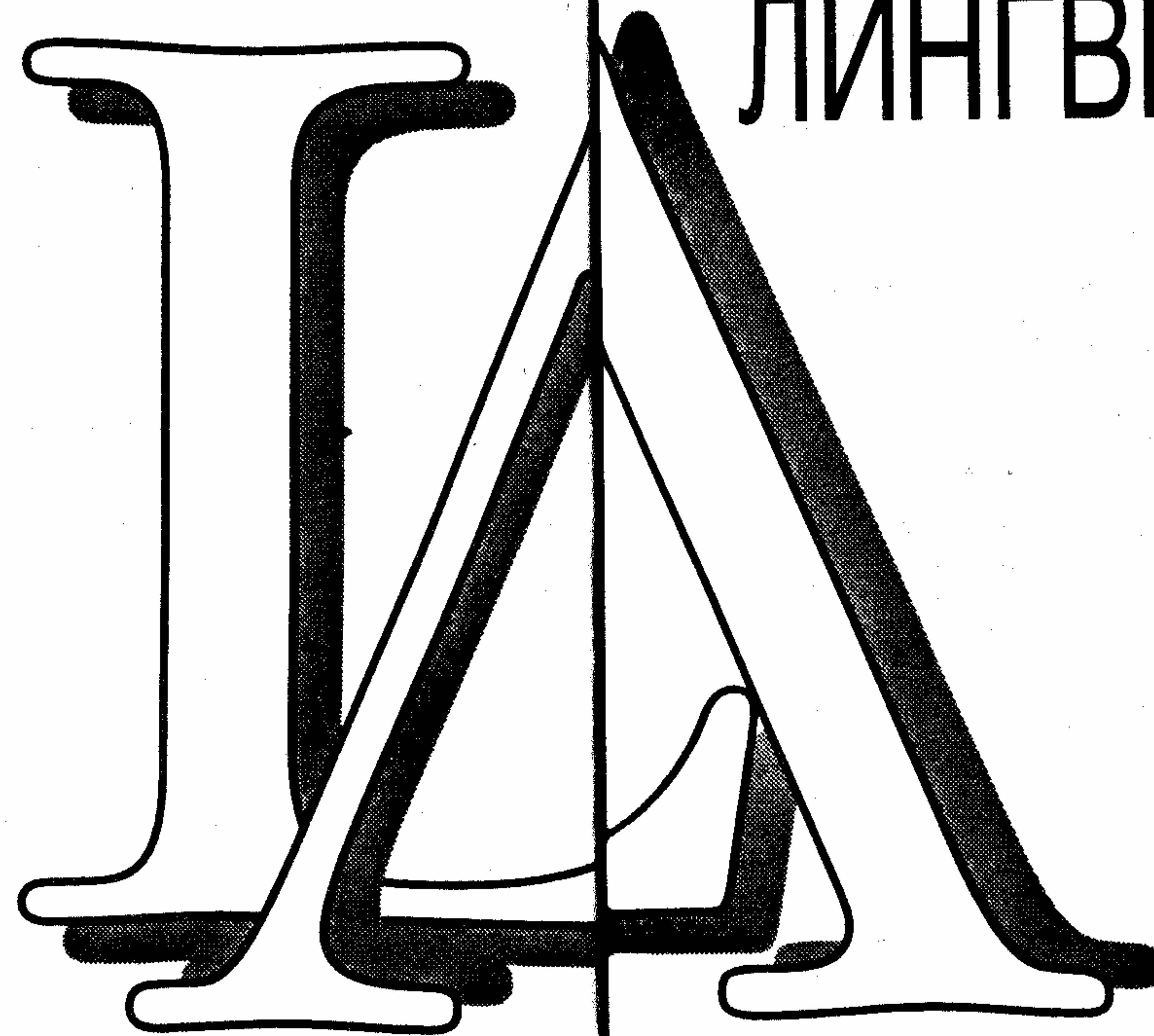
С.А. СТАРОСТИН

Адрес редакции:

125267, Москва, Миусская пл., 6, корп. 2.

ФТиПЛ, Редакция МЛЖ.

Тел.: 250-65-60; факс (7095) 250-51-09



МОСКОВСКИЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ том 4
MOSCOW
JOURNAL
OF LINGUISTICS

Российский государственный
гуманитарный университет
МОСКВА 1998

ББК 81.0
М 81

Художник
В.В. СУРКОВ

ЛР № 020219, выд. 25.09.95
Подписано в печать 31.07.98
Тираж 300 экз.
Заказ № 73

Издательский центр
Российского государственного
гуманитарного университета
125267, Москва, Миусская пл., 6

Отпечатано в типографии РГГУ

М 4602000000-11 без объявл.
ОТ8(03)-96

© Коллектив авторов, 1998
© Российский государственный
гуманитарный университет, 1998

Содержание Contents

- 7—21 *К. В. Антонян.* Семантика глагольного модификатора в китайском языке: грамматическая метафора
K. V. Anton'an. Semantics of a verbal modifier in Chinese: the grammatical metaphor
- 22—31 *Е. П. Буторина.* Опыт классификации словообразовательных ошибок в русской речи иностранцев
E. P. Butorina. On classification of derivational errors in the Russian speech of foreigners
- 32—45 *А. В. Гладкий.* К процедуре построения систем синтаксических групп
A. V. Gladkij. On the procedure of the construction of syntactical group systems
- 46—68 *Н. Н. Николаенко, О. П. Траченко, А. Ю. Егоров, М. А. Грицышина* (Санкт-Петербург). Языковая компетенция правого и левого полушарий мозга: специализация и взаимодействие
N. N. Nikolaenko, O. P. Tračenko, A. Yu. Egorov, M. A. Gricyšina. The language competence of right and left cerebral hemispheres: specialization and interaction
- 69—77 *Н. В. Перцов.* О двух способах описания русской видо-временной системы (к проблеме неединственности грамматических решений)
N. V. Pertsov. On two ways of description of the Russian aspect-tense system (towards the problem of non-uniqueness of grammatical solutions)

- 78—138 *M. S. Polinsky* (Los Angeles, USA). American Russian: a new pidgin
М. С. Полинская. Американский русский: новый пиджин
- 139—154 *P. Rastall* (Portsmouth, Great Britain). Communication strategies and the morphology-syntax distinction
П. Расталл. Коммуникативные стратегии и различия между морфологией синтаксисом
- 155—164 *М. В. Рудерман*. Способы выражения пола и возраста в названиях животных в арабском языке (в сопоставлении с английским и немецким)
М. V. Ruderman. Manifestation of sex and age in names of animals in Arabic as compared to English and German
- 165—182 *В. Д. Соловьев, В. Р. Байрашева* (Казань). Об атрибутивных конструкциях с существительными в татарском языке
V. D. Solovjev, V. R. Bajraševa. On the attributive noun constructions in Tatar
- 183—203 *В. Я. Труфанова*. О роли интонации в формировании значения устойчивых формул общения
V. Ya. Trufanova. About the role of intonation in forming stable formulae of communication
- 204—225 *И. А. Шаронов*. Глаголы речевых актов и коммуникативы
I. A. Šaronov. Speech act verbs and communicatives
- ХРОНИКА —
- 226—232 *М. А. Кронгауз*. Прагматика в современном лингвистическом мире. Заметки о пятой прагматической конференции (Мехико, 4—9 июля 1996 г.) и международной прагматической ассоциации
M. A. Kronhaus. Pragmatics in Modern Linguistic World. Notes on the Fifth Pragmatic Conference (Mexico, July 4—9, 1996) and on the International Pragmatics Association

К. В. Антонян

K. V. Anton'an

Семантика глагольного модификатора
 в китайском языке: грамматическая метафора¹

Semantics of a verbal modifier in Chinese:
 the grammatical metaphor

Данная работа посвящена изучению грамматической метафоры, т.е. метафорических преобразований лексического значения языковой единицы при ее грамматикализации; в ходе таких преобразований у соответствующей единицы появляется абстрактное грамматическое значение.

Мы рассмотрим явление грамматической метафоры на примере одного из глагольных модификаторов современного китайского языка (СКЯ)².

Глагольные модификаторы (термин восходит к работам А. А. Драгунова [1952: 121] и С. Е. Яхонтова [1957: 14]) — это присоединяемые к глаголу глаголы или прилагательные, обозначающие результат действия или направление движения, ср. *kàn-wǎn* 'чи-

¹ Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 97-04-06289.

Работа представляет собой переработанную версию статьи «Семантика глагольного дополнительного элемента *shang*: от лексических значений к грамматическим», опубликованной в сборнике «Глагольная префиксация в русском языке». М., 1997. С. 186—195) (прим. ред.).

² Список сокращений приводится в конце работы.

тать' + 'закончить' = 'дочитать', *xī-bái* 'стирать' + 'белый' = 'отстирать добела', *tiào-xià* 'прыгнуть' + 'вниз' = 'спрыгнуть'. Глагол вместе с присоединенным к нему модификатором образует результативную конструкцию (РК).

РК обладают грамматическими свойствами слова [Задоевко 1955: 205], но образуются в речи свободно; их класс открыт. Поэту в одних лингвистических традициях, например, в китайской, РК рассматривается как словосочетание (*dòngbù jiégòu* — конструкция глагол + дополнительный элемент), а в других, например, в отечественной, — как сложное слово (глагол результативной структуры).

Характерной чертой РК является возможность вставки между первым и вторым компонентами морфем *dě* или *bù*, в результате чего образуются формы со значением соответственно возможности и невозможности достижения действием, обозначенным первым компонентом, результата, обозначенного вторым компонентом, ср. *kàn-dě-wǎn* 'можно <успеть> дочитать', *kàn-bù-wǎn* 'невозможно <успеть> дочитать'. Эти формы называются формами потенциального наклона (ФПН).

Модификаторы могут называться также дополнительными элементами (ДЭ)³ результата и направления; в настоящей работе мы принимаем именно этот термин. Класс ДЭ результата открыт (в качестве ДЭ результата может использоваться практически любой глагол и любое прилагательное); а ДЭ направления образуют небольшой закрытый класс из 26 глаголов. Некоторые ДЭ результата и направления наряду со своими основными лексическими значениями имеют также метафорические значения: они могут функционировать как аспектуальные показатели, выражая, в частности, значения завершения действия, начала действия, продолжения действия. По данным «Словаря сочетаемости глаголов», из 26 ДЭ направления грамматические значения подобного типа имеются у 11 [ДСУФ 1987: 14–20].

Так, глаголы *shàng* 'подняться', *qǐ* 'подняться', *qǐlái* 'подняться (к говорящему)', *kāi* 'раскрыть', *kāilái* 'раскрыть' — наряду со своими вышеприведенными исходными значениями — могут иметь также

³ Этот термин является переводом китайского названия второго компонента РК — *bùyǔ*.

значение начала действия; *chū* 'выйти', *chūlái* 'выйти (к говорящему)', *dào* 'достигнуть', *xià* 'спуститься' — значение результативного завершения действия; *xiàlái* 'спуститься (к говорящему)', *xiàqù* 'спуститься (от говорящего)' — значение продолжения действия⁴.

Изучение функционирования и описание семантики этих языковых единиц представляет собой интереснейшую (и при этом очень малоразработанную) лингвистическую проблему. Особенность их функционирования в языке состоит в том, что они не являются полностью служебными: они в значительной степени сохраняют связь со своим исходным лексическим («вещественным») значением. Задача данной работы состоит в том, чтобы продемонстрировать тесную связь лексического и грамматического в значении рассматриваемых единиц, постепенное «растворение» лексического значения, приводящее к превращению лексической единицы в грамматический элемент. Такая постановка задачи требует рассмотрения всех типов употреблений данных языковых единиц (как знаменательных, так и служебных) в их взаимосвязи.

Данная работа посвящена анализу семантики модификатора *shàng*. Выбор именно этого модификатора обусловлен тем, что он характеризуется высокой частотой употребления и широкой сочетаемостью, а также интересным в семантическом отношении спектром значений.

Shàng может функционировать в СКЯ и как самостоятельный глагол (СГ) со значением 'подняться' (ср. *shàng shān* 'подняться на гору'), и как дополнительный элемент к глаголу. Его употребления в качестве ДЭ разнородны: в некоторых из них отчетливо ощущается исходное лексическое значение этой морфемы (т.е. значение направления), в некоторых *shàng* передает то или иное грамматическое значение, в частности, значение результативного завершения действия и значение начала действия, ср. *mǎi* 'покупать' + *shàng* = 'купить', *chóu* 'тосковать' + *shàng* = 'затосковать'. Такой широкий спектр употреблений, а также антонимичность двух упомянутых грамматических значений *shàng* делают его интересным предметом рассмотрения.

⁴ Морфемы *lái* и *qù*, в самостоятельном употреблении означающие 'приходить' и 'уходить', в составе глагольных комплексов ориентируют направление действия относительно говорящего.

- В дальнейшем изложении выполняются следующие задачи:
- сопоставляются системы значений ДЭ *shàng* и СГ *shàng*;
 - вводятся формальные критерии меры выраженности лексического значения в различных употреблений ДЭ *shàng*;
 - определяются количественное соотношение различных типов употреблений ДЭ *shàng*;
 - исследуются механизмы перехода от лексического значения к грамматическому;
 - выявляются взаимосвязи результативного и начинательного значений ДЭ *shàng*.

В качестве корпуса примеров нами были использованы все примеры сочетаний глаголов с ДЭ *shàng*, приведенные в «Словаре сочетаемости глаголов» [DCYF 1987]. Словарь DCYF содержит 2117 словарных статей. Всего нами было обнаружено 1776 предложений с ДЭ *shàng*.

I. *Shàng* как самостоятельный глагол

У *shàng* как самостоятельного глагола в словаре DCYF выделяются следующие 12 значений.

- (1) 'подняться': *shàng shān* 'подняться на гору';
- (2) 'в', 'идти в': *shàng gōngyuán* 'идти в парк';
- (3) 'направить (бумагу) в высшую инстанцию': *shàng shū* 'направить письмо';
- (4) 'выдвинуть вперед': *shàng yī gè pái* 'выдвинуть вперед один взвод';
- (5) 'выйти на сцену', 'выступить': *shàng chǎng* 'выйти на сцену';
- (6) 'подать': *shàng cài* 'подать блюдо';
- (7) 'разместить одну вещь на поверхности другой'; 'соединить вместе две части одной вещи': *shàng bōli* 'установить стекло', *shàng xiùzi* 'пришить рукав';
- (8) 'нанести вещество на какую-л. поверхность': *shàng qī* 'нанести лак';
- (9) 'поместить': *shàng guāngróngbǎng* 'поместить на доску почета';
- (10) 'натянуть': *shàng xián* 'натянуть струны';

(11) 'в установленное время начать (работу)': *shàng bān* 'выйти на работу';

(12) 'достигнуть (определенного количества)', 'около': *shàng yī bǎi rén* 'около ста человек'.

II. *Shàng* как дополнительный элемент

Лю Юэхуа выделяет три типа значений ДЭ *shàng*: (1) направительные значения, (2) результативные значения, (3) видовые значения (значение начала действия) [Liu Yuehua 1989: 29]. Обобщая материал, приведенный в работах Лю Юэхуа, Дэн Шоусиня [Teng Shou-hsin 1977: 7–10], а также в словарях DCYF [DCYF 1987: 14] и ХНВС [ХНВС 1984: 417–420], можно привести следующую систему основных значений *shàng* как ДЭ.

1. Пространственные значения.

1.1. В ходе выполнения действия, обозначенного оформляемым глаголом (V1)⁵, предмет перемещается снизу вверх.

(a) *Xióngyīng fēi-shàng lè lántiān.*

орел лететь-ДЭ ПСВ небо

'Орел взлетел в небо'.

2. Результативные значения.

2.1.1. Действие V1 достигает результата, причем результат состоит в том, что нечто прикрепляется к чему-то, добавляется к чему-то, устанавливается на чем-то.

(b) *Chuānghù guān-shàng lè.*

окно закрыть-ДЭ ПСВ/МЧ⁶

'Окно закрыли'.

2.1.2. Действие V1 достигает результата.

(c) *Lùyīnjī, diànshìjī wǒmèn jiā yě mǎi-shàng lè.*

магни- телеви- наша семья тоже купить-ДЭ ПСВ/МЧ
тофон зор

'Магнитофон и телевизор наша семья тоже приобрела'.

⁵ Будем обозначать первый компонент РК (т.е. оформляемый глагол) как V1, а второй компонент РК (т.е. модификатор) — как V2.

⁶ В конце предложения ПСВ *lè* и МЧ *lè* неразличимы.

2.1.3. Субъекту действия удается осуществить действие V1.

(d) *Zhè gè hái zi zǎo jiù xiǎng yǎng yú.*
 этот СС ребенок давно Ч мечтать выращивать рыбки,
zhè huí kě yǎng-shàng lè.
 этот раз Ч выращивать-ДЭ ПСВ/МЧ
 'Этот ребенок давно мечтал выращивать рыбок, в этот раз ему это удалось'.

3. Начинательное значение: действие V1 началось и продолжается.

(e) *Háizimèn yòu rǎng-rǎng-shàng lè.*
 дети опять шуметь-ДЭ ПСВ/МЧ
 'Дети опять расшумелись'.

III. Соотносимость значений СГ *shàng* и ДЭ *shàng*

Можно заметить, что в разных употреблениях ДЭ *shàng* связь с зависящей от него именной группой (ИГ), если такая ИГ имеется, ощущается в различной степени.

В некоторых употреблениях эта связь очень отчетлива. Это выражается, в частности, в том, что из предложения может быть вычленено сочетание *shàng* + ИГ⁷; при этом оно окажется грамматически правильным, и его смысл будет соответствовать данному употреблению. Так, из примера (а) можно вычленить словосочетание *shàng lántiān* 'подняться в небо'. Это говорит о том, что значение ДЭ *shàng* в данном употреблении не отличается от значения СГ *shàng*.

⁷ Предложения со сказуемым, представляющим собой РК, исторически развились из предложений с двумя сказуемыми, каждое из которых имело собственные зависимые члены. Группы сказуемых соединялись союзом *ér*. Впоследствии союз *ér* в таких предложениях перестал употребляться, а сказуемые стали располагаться контактно. В дальнейшем такой глагольный комплекс приобрел грамматические свойства слова, в частности, цельнооформленность; однако и в современном языке компоненты результативных конструкций, если они не десемантизированы, продолжают сохранять самостоятельные семантические связи с именными группами в предложении (см. [Антонян 1996: 10–13]). Это и позволяет нам говорить о вычленении из предложения сочетания *shàng* + ИГ.

Приведем таблицу, в которой представлены случаи совпадения значения ДЭ с каким-либо из значений самостоятельного глагола *shàng* (значения помечены номерами из словаря [DCYF 1987]).

Значения <i>shàng</i> как самост. глагола (по словарю DCYF)	Примеры употреблений ДЭ <i>shàng</i>
1. 'подняться'	
<i>shàng shān</i> 'подняться на гору'	<i>dēng-shàng shān</i> ^I 'подняться на гору'
7. 'прикрепить, соединить'	
<i>shàng xiùzi</i> 'пришить рукав'	<i>Yīfù xiùzi cái-xiǎo lè, féng-bù-shàng lè</i> ^{II} 'Рукава выкроили слишком маленькие, не получится пришить'
8. 'нанести, намазать'	
<i>shàng yǎnsè</i> 'раскрасить' <i>shàng yào</i> 'втереть лекарство'	<i>Liǎn-shàng yǒu shuǐ, mǒ-bù-shàng yóu</i> ^{III} 'Лицо мокрое, не получится намазать кремом'
11. 'в установленное время начать (работу, учебу)'	
<i>shàng zhōngxué</i> 'поступить в среднюю школу'	<i>kǎo-shàng dàxué</i> ^{IV} 'поступить в университет'
^I <i>dēng-shàng shān</i> подняться-ДЭ гора ^{II} <i>Yīfù xiùzi cái-xiǎo lè, féng-bù-shàng lè.</i> одежда рукава кроить-маленькие ПСВ/МЧ, шить-не-ДЭ ПСВ/МЧ. ^{III} <i>Liǎn-shàng yǒu shuǐ, mǒ-bù-shàng yóu.</i> лицо-на иметься вода, мазать-не-ДЭ крем ^{IV} <i>kǎo-shàng dàxué</i> сдавать экзамены-ДЭ университет	

В приведенных в правой части таблицы примерах мы можем вычленить следующие сочетания *shàng* + ИГ: *shàng shān* 'подняться на

гору», *shàng xiùzi* 'пришить рукав', *shàng yóu* 'нанести крем', *shàng dàxué* 'поступить в университет'. Таким образом, в этих примерах значение дополнительного элемента *shàng* совпадает с тем или иным значением самостоятельного глагола *shàng*.

Подобные примеры составляют 137 предложений, т.е. 7,6% всего корпуса примеров.

Большинство же в корпусе примеров составляют предложения, в которых уже невозможно вычленить сочетание *shàng* + ИГ либо из-за отсутствия ИГ, либо из-за того, что *shàng*, будучи самостоятельным глаголом, не может присоединять такие дополнения.

Тем не менее, в определенной мере конкретное лексическое значение *shàng* в подобных примерах присутствует. Оно выражается, в частности, в невозможности заменить *shàng* на какой-либо другой ДЭ без изменения смысла предложения. Так, в предложении

(f) *Zhǐ-shàng yǒu yóu huà-bù-shàng.*

бумага-на имеется масло рисовать-не-ДЭ

'Бумага испачкана жиром, на ней невозможно рисовать'

форма *huà-bù-shàng* 'невозможно нарисовать' обозначает невозможность нарисовать что-либо на бумаге, обусловленную именно свойствами поверхности: бумага «не принимает» рисунка. Поэтому данная форма не полностью синонимична сочетаниям глагола *huà* с другими ДЭ, в частности, форме *huà-bù-liǎo* (исходное лексическое значение ДЭ *liǎo* — 'завершить'), которая обозначает невозможность достижения действием «рисовать» результата, объясняемую такими причинами, как отсутствие принадлежностей, нехватка времени, неумением рисовать, и форме *huà-bù-zháo* (исходное лексическое значение ДЭ *zháo* — 'коснуться'), которая обозначает невозможность нарисовать нечто из-за того, что говорящий, например, не может дотянуться до висящего слишком высоко листа бумаги или до доски.

В корпусе примеров удалось выделить «серии», объединяемые общностью ситуации, задаваемой глагольным комплексом V1 + *shàng*. (Далее цифры в скобках указывают номера значений по словарю DCYF.)

Это серии 'прикрепление' (в которых *shàng* оформляет такие глаголы, как *dìng* (1) 'прибивать', *féng* 'пришивать', *bì* 'закрывать' и

др.), 'соприкосновение' (*ái* (1) 'соприкасаться', *yǎo* (2) 'сцепляться' и др.); 'установление' (*ān* (2) 'установить', *bǎi* (1) 'поставить', *fàng* (10) 'помещать' и др.), 'размещение на поверхности' (*zāi* (1) 'сажать растения', *zhòng* 'сажать' и др.), 'разбрасывание по поверхности' (*jiāo* (2) 'поливать', *sā* 'разбрасывать' и др.), 'добавление' (*bù* (1) 'заделывать', *tián* (1) 'заполнить' и др.); 'намазывание' (*cā* (3) 'мазать', *mǒ* (1) 'мазать', *pū* (2) 'пудрить' и др.), и 'нанесение знаков на поверхность' (*dǎ* 'печатать', *huà* (1) 'рисовать', *qiān* (1) 'подписать', *xiě* (1) 'писать') и некоторые другие.

В вышеприведенных примерах речь идет о вещественном, материально понимаемом соединении, прикреплении, нанесении на поверхность. В них значение ДЭ *shàng* отчетливо восходит к значениям (7) и (8) самостоятельного глагола *shàng*, а именно, к значениям 'соединить' и 'нанести вещество на поверхность'.

Прикрепляемые и соединяемые «предметы» могут и не быть выраженными ни в предложении, ни в контексте. Они могут осознаваться говорящими благодаря знаниям о мире. Так, в предложении

(g) *Qǐng bǎ shū hé-shàng.*

пожалуйста ПВД книги закрыть-ДЭ

'Закройте, пожалуйста, книги'

соединяемыми «предметами» являются половинки раскрытой книги, которые при закрывании книги соединяются.

Представлены и более абстрактные серии. В них задаваемая глагольным комплексом V1 + *shàng* ситуация также может мыслиться как некоторое соединение или наложение друг на друга двух разных сущностей, но это уже не материально понимаемое соединение.

Это серии 'столкновение с некоторыми обстоятельствами' (*hù* 'встретить', *rèng* (2) 'встретить', *yù* 'встретить' и др.), 'соответствие (кому-л./чему-л.)' (*dù* (4) 'подходить', 'соответствовать', *pèi* (2) 'подбирать', 'сочетать' и др.), 'включение в группу' (*bāokuò* 'включать', *shù* (1) 'посчитать' кого-л. и др.), 'установление отношений' (*jiāo* (3) 'связать (дружбу)', *liánluò* 'связаться', *liánxi* 'связаться', *pān* (2) 'установить отношения', *qiānlián* 'впутать' и др.); 'приписывание' (*ān* (3) 'дать (прозвище)', *yuān* 'обвинять', *zāi* (2) 'свалить вину') и некоторые другие. Значение ДЭ *shàng* в этих примерах представляет со-

бой метафорическое расширение исходного лексического значения (7) 'прикрепить', 'соединить'.

Существуют, однако, и такие примеры, в которых в значении ДЭ *shàng* уже трудно увидеть что-либо конкретно лексическое. В них *shàng* передает чисто абстрактное значение результативного завершения или возможности осуществления действия VI (см. примеры (с) и (d)).

IV. Количественное соотношение типов употреблений *shàng*

Весь корпус примеров удалось разбить на следующие три группы.

(1) Группа А, в которой ДЭ *shàng* передает некоторый вещественный (пусть даже в некотором метафорическом смысле) результат.

(2) Группа В, которой ДЭ *shàng* передает некоторый абстрактный результат.

(3) Группа С, в которой ДЭ *shàng* передает значение начала действия.

Их количественное соотношение таково:

Группа А — 19,3% (343 примера).

Группа В — 7,4% (131 пример).

Группа С — 73,3% (1302 примера).

В составе группы А может быть выделена подгруппа таких употреблений, в которых значение ДЭ *shàng* не является метафорическим и полностью совпадает с одним из значений СГ *shàng*. Эта подгруппа составляет 137 примеров, т.е. 7,6% всего корпуса.

V. Механизмы перехода от лексического значения к грамматическому

Всякая глагольная морфема, имеющая знаменательное значение, задает некоторую ситуацию. Образующие глагольный комплекс морфемы задают две ситуации, в каждом конкретном случае по-разному соотносящиеся друг с другом.

Так, в примере (а) глагольный комплекс задает две ситуации: ситуацию *fēi* 'лететь' и ситуацию *shàng lántiān* 'подняться в небо'. Вто-

рая ситуация возникает как результат первой. Однако связь между ними достаточно произвольна: они взаимосвязаны только в данном конкретном событии. Вообще же говоря, у действия *fēi* 'лететь' может быть много различных результатов, ср. *fēi-xiàlái* 'слететь вниз', *fēi-jìn wū* 'влететь в комнату' и т. п.

В глагольном комплексе

(h) *mǒ-shàng yóu*

мазать-ДЭ жир

'намазать жиром'

значение *shàng* соответствует значению (8) СГ *shàng* 'нанести на поверхность'. В этом примере ситуация, задаваемая *shàng*, полностью входит в ситуацию, задаваемую *mǒ*. *Shàng yóu* 'нанести жир на поверхность' является естественным результатом действия *mǒ yóu* 'мазать жиром'. Таким образом, лексическое значение *shàng* в данном примере дублируется значением *mǒ* 'мазать'.

В предложении

(i) *Shàngbiānr yǒu yóu, yǎnsè shàng-bù-shàng.*

наверху имеется жир цвет наносить-не-ДЭ

'Поверхность покрыта жиром, краску не нанесешь'

совпадение ситуаций, задаваемых первым и вторым компонентами РК, видно особенно ярко, так как первый и второй компонент просто совпадают.

В примерах (h) и (i) ДЭ *shàng* не содержит никаких сем, которые не были бы выражены другими элементами предложения (например, оформляемым глаголом). В этих примерах роль *shàng* — выделительная. За счет двойного выражения (в первом и во втором компонентах глагольного комплекса) значение 'нанесение на поверхность' оказывается выделенным.

Взаимодействие ситуаций, задаваемых первым и вторым компонентами глагольного комплекса, может происходить и более сложным образом. По-видимому, можно говорить не просто о взаимодействии значений первого и второго компонентов глагольного комплекса, но о взаимодействии знаний о ситуациях, стоящих за данными компонентами.

Например, глагол *zhǔ* 'варить' сам по себе не обозначает размещения чего-либо на чем-либо. Но выполнение действия, им обозна-

чаемого, предполагает предварительное размещение сосуда с пищей на огне. Это и создает возможность сочетания *zhǔ* с ДЭ *shàng* в значении 'разместить':

- (k) *Miàntiáo wǒ zhǔ-shàng lè.*
лапшу я варить-ДЭ ПСВ/МЧ
'Лапшу я уже поставил варить'.

Ситуация, задаваемая в этом предложении *shàng* ('размещение') является не результатом ситуации, задаваемой первым компонентом, а скорее наоборот: она является необходимым условием осуществления действия *zhǔ*. Выделенной здесь оказывается начальная часть ситуации *zhǔ* 'варить'.

Получается, что в примерах (h)–(k) ДЭ *shàng* не столько передает некоторое лексическое значение, сколько выполняет функцию усиления и выделения некоторой фазы ситуации.

В ходе метафоризации значения *shàng* этот элемент получает возможность присоединения ко все более широкому кругу глаголов. Он может присоединяться уже и к глаголам, значение которых и представляемая этим значением типовая ситуация никак не связаны с тем или иным лексическим значением СГ *shàng*. Следы исходного лексического значения *shàng* проявляются только в некоторых ограничениях на сочетаемость: *shàng* как ДЭ результата не может сочетаться с глаголами, обозначающими движение вниз, уменьшение, сжатие.

Выделение и усиление, возникавшие сначала за счет пересечения номинативных значений первого и второго компонентов, превращаются в функцию второго компонента. *Shàng* получает возможность присоединения к глаголам самой различной семантики (с учетом вышеупомянутых ограничений), обозначая достижение действием естественного для данного действия результата (ср. пример (с)).

VI. Взаимосвязь двух грамматических значений ДЭ *shàng*

Как уже говорилось, ДЭ *shàng* может, в частности, передавать как значение результативного завершения действия (ср. пример (с)), так и значение начала действия (ср. пример (е)).

С одной стороны, эти значения можно считать уже полностью разошедшимися, так как *shàng* в сочетании с одним и тем же глаго-

лом может передавать как значение результативного завершения действия, так и значение начала действия. Так, в предложении

- (l) *Sān chéng-shàng wǔ děngyú shíwǔ.*
три умножить-ДЭ пять равно пятнадцать
'Три умножить на пять будет пятнадцать'

shàng обозначает результативное завершение действия. В то же время в предложении

- (m) *Tā yòu chéng-shàng lè.*
он опять умножать-ДЭ ПСВ/МЧ
'Он опять занялся умножением'

shàng обозначает начало действия.

Характерно, что «начинательный» *shàng* не имеет тех ограничений на сочетаемость, которые есть у «результативного» *shàng*, и может сочетаться с глаголами, обозначающими движение вниз, уменьшение, сжатие и т.п., ср.

- (n) *Wàibiān yòu xià-shàng yǔ lè.*
на улице опять падать вниз-ДЭ дождь ПСВ/МЧ
'На улице опять пошел дождь'.

С другой стороны, существует целый ряд случаев, в которых не так просто решить, с каким значением *shàng* — результативным или начинательным — мы имеем дело. Это относится к следующим типам примеров.

1. Сочетания *shàng* с глаголами, обозначающими душевное состояние, такими как *ài* 'любить', *hèn* 'ненавидеть', *chóu* 'тосковать'. Формы *ài-shàng* 'полюбить', *hèn-shàng* 'возненавидеть', *chóu-shàng* 'затосковать' допускают двойственную интерпретацию: с одной стороны, они обозначают соответствующие действия как итоги некоторого предварительного развития (чувств), а с другой — обозначают наступление некоторого нового состояния.

Интересно, что в словаре DCYF значение ДЭ *shàng* в данных формах интерпретируется как начинательное [DCYF 1987: 2, 108, 127], а в словаре ХНВС — как результативное [ХНВС 1984: 419].

2. Двойственную интерпретацию допускает *shàng* и в тех случаях, когда он обозначает ситуацию, являющуюся необходимым условием осуществления действия V1 (ср. обсуждавшийся выше пример (k)). Форма *zhǔ-shàng* в данном примере, с одной стороны, обозна-

чает результативное завершение некоторых подготовительных действий (установку сосуда на огне), а с другой стороны — начало действия *zhǐ* 'варить'.

3. Среди результативных значений ДЭ *shàng* выделяется значение 'субъекту действия удается осуществить действие V1' (см. пример (d)). Достижимой целью в этом примере является само действие, обозначаемое оформляемым глаголом *yǎng* ('выращивать'). Но, раз была достигнута цель, состоящая в том, чтобы приступить к выполнению некоторого действия, то может быть и так, что сейчас это действие находится в процессе выполнения. Достижение цели оказывается началом процесса.

Таким образом, имеются употребления, в которых результативное и начинательное значения *shàng* противопоставлены: *shàng*, оформляя один и тот же глагол, дает два различных смысла; но имеются также употребления, в которых два значения *shàng* очень близки и трудноразграничимы.

Существование таких употреблений показывает, что результативное и начинательное значения *shàng* взаимосвязаны: начинательное значение *shàng* восходит к результативному.

Список сокращений

ДЭ — дополнительный элемент; ИГ — именная группа; МЧ — модальная частица; ПВД — предлог, вводящий дополнение; ПСВ — показатель совершенного вида; РК — результативная конструкция; СГ — самостоятельный глагол; СКЯ — современный китайский язык; СС — счетное слово; ФПН — форма потенциального наклонения; Ч — частица; V1 — первый компонент результативной конструкции; V2 — второй компонент результативной конструкции.

Литература

- Антонян 1996 — Антонян К.В. История развития результативной конструкции в китайском языке // Китайское языкознание. 8 Международная конференция. Материалы. — М., 1996.
- Задоев 1955 — Задоев Т.П. Результативные глаголы в современном китайском языке. — Дис. ... канд. филол. наук. — М., 1955.
- Драгунов 1952 — Драгунов А.А. Исследования по грамматике современного китайского разговорного языка. — Л., 1952.
- Яхонтов 1957 — Яхонтов С.Е. Категория глагола в китайском языке. — Л., 1957.

- ДЮФ 1987 — Dòngcí yòngfǎ cídiǎn. — Shànghǎi, 1987. [Словарь сочетаемости глаголов].
- Лю Юэгуа 1989 — Liu Yuehua. Qūxiàng bǔyǔ dé yǎnfā yìyì // Liu Yuehua zhu. Hànyǔ yǔ fǎ lúnjī. — Běijīng, 1989. [Лю Юэгуа. Грамматические значения дополнительных элементов направления // Избранные статьи по грамматике китайского языка].
- Тенг Шу-хсин 1977 — Teng Shou-hsin. A grammar of verb particles in Chinese // Journal of Chinese Linguistics. — 1977. — Vol. 5, № 1.
- ХИВС 1984 — Xiàndài hànyǔ bā bǎi cí. — Běijīng, 1984. [Словарь «Восемьсот слов современного китайского языка»].

Е. П. Буторина

E. P. Butorina

Опыт классификации словообразовательных
ошибок в русской речи иностранцев

On classification of derivational errors
in the Russian speech of foreigners

I. Вводные замечания.

На важность исследования «отрицательного языкового материала» указывали такие лингвисты, как А. Фрей, Л. В. Щерба и другие (см., например, [Frei 1929; Щерба 1965]. Л. В. Щерба так определял это понятие: « (...) весьма важную составную часть языкового материала образуют именно неудачные высказывания с отметкой "так не говорят", которые я буду называть "отрицательным языковым материалом". Роль этого отрицательного материала громадна и совершенно еще не оценена в языкознании» [Щерба 1965: 369]. Значение отрицательного языкового материала для теоретической лингвистики подчеркивает и Ю. Д. Апресян: «Даже в тех случаях, когда анализ отрицательного языкового материала не указывает прямого пути к правильному описанию фактов, он может быть небесполезен в том отношении, что позволяет заметить неточности в существующих описаниях» [Апресян 1995: 105]. В настоящее время исследование отрицательного языкового материала привлекает все боль-

шее внимание лингвистов. К числу фактов, которые могут быть интерпретированы как отрицательный языковой материал относятся, например, нарушения нормы в разговорной речи, в речи детей, речи людей, говорящих на вторичном языке.

В дальнейшем изложении используются следующие термины:

Билингв — человек, владеющий двумя языками.

Первичный язык — язык, усвоенный в детстве прямым методом.

Вторичный язык — язык, усвоенный в условиях, отличных от тех, в которых усваивается первичный язык (см. о неоднозначности терминов «родной язык» / «иностранный язык» в работе А. Е. Карлинского [Карлинский 1990]).

II. Материал

В настоящей статье обсуждается опыт построения классификации словообразовательных ошибок в русской речи иностранцев. В качестве единиц для анализа фиксировались производные слова, порожденные, употребленные или воспринятые с нарушением законов системы современного русского языка, а также правил нормы или узуса. В отдельных случаях рассматривались непроизводные слова, воспринятые слушающим / читающим как производные (например, *дровец* понимается как *дровосек*). В качестве информантов привлекались говорящие по-русски носители английского или французского языков. Рассматривались факты письменной и устной форм речи, а также результаты всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, письмо, говорение. Каждая единица анализировалась в контексте и сравнивалась с нормативным эквивалентом русского языка. Всего проанализировано около 1000 единиц.

III. Существующие классификации ошибок иностранцев

Принципы анализа ошибок в речи говорящих / пишущих на вторичном языке и значение этого анализа для теоретической лингвистики широко обсуждаются в литературе [Воронин 1968, 1970; Митрофанова 1980; Мокиенко 1983; Хельбиг 1989; Corder 1974; Ferguson 1991; Jain 1974; Richards 1974]. Предлагаются различные подходы к классификации ошибок. Прежде всего ошибки разделяются по причине их возникновения. Например, Г. Хельбиг предлагает следующую классификацию ошибок: «Существуют не только межязыковые ошибки, которые действительно вызваны интерфе-

ренцией со стороны родного языка, но и такие, которые от родного языка не зависят. Сюда относятся межъязыковые ошибки, которые являются внутривидовыми и обусловлены системой иностранного языка (прежде всего гипергенерализацией правил целевого языка, т.е. неправильными заключениями по аналогии); ошибки, которые основываются вовсе не на языковой системе, а на неправильной практике и стратегиях преподавания иностранного языка; наконец, такие, которые обусловлены не языком, не преподаванием, а причинами психологического, физиологического или какого-нибудь еще характера (...). Даже если рассматривать "несистемные ошибки" ("mistakes" и "lapses", ошибки языкового употребления) отдельно как непредсказуемые, то остаются "системные" (т.е. предсказуемые) ошибки ("errors") как различного рода ошибки языковой компетенции (...), которые лишь частично обусловлены интерференционным влиянием родного языка. Если ошибки у учащихся с разными родными языками *различны*, то похоже, что это результат интерференции со стороны родного языка. Если же они, наоборот, *общие*, то эти ошибки, за исключением тех, что обусловлены языковыми совпадениями (...), могут проистекать из определенных стратегий обучения (...)» [Хельбиг 1989: 320—321].

Таким образом, при классификации ошибок прежде всего различаются ошибки компетенции и ошибки исполнения.

Р. Ди Пьетро так определяет языковое исполнение: «Языковое исполнение — это проявление компетенции говорящего в действии (...) на языковое исполнение оказывают влияние факторы, внешние по отношению к языковой компетенции говорящего. Отсутствие интереса, изменение настроения, отвлечение внимания, плохое самочувствие и т.п. (...)» [Ди Пьетро 1989: 87]. На эти же источники ошибок указывал еще Е. М. Верещагин [Верещагин 1968: 103]. Как можно видеть из определения, предметом исследования здесь будут оговорки, описки и т.д. Изучение ошибок исполнения, несомненно представляющее значительный интерес для психологии и нейролингвистики, в данной работе не проводится.

Среди ошибок компетенции в свою очередь выделяются ошибки, вызванные влиянием первичного языка, и ошибки, появление которых обусловлено внутривидовыми факторами вторичного языка ([Немзер 1989: 131; Гвоздев 1961] и др.). Последние называ-

ются «ошибками развития» (developmental errors) и часто совпадают с ошибками детей, усваивающих этот язык как первичный. На необходимость их различения для построения адекватного описания указывает наряду с другими авторами У. Немзер: «Предпосылкой развития жизнеспособной контрастивной теории (...) является различение собственно контрастивных факторов (перенос) и факторов развития (неконтрастивных) в процессе изучения языка, а затем выяснение роли тех и других факторов» [Немзер 1989: 138].

IV. Возможное описание классов ошибок в производных словах.

В качестве описания, наиболее полно отражающего различные аспекты исследуемого явления, максимально адекватным представляется параметрическое. Его суть состоит в следующем. Выделяются параметры, которые могут быть использованы для описания ошибок как проявления интерференции на любом уровне языковой системы, и параметры, специфические для словообразования. К параметрам, которые могут быть использованы для работы с явлениями любого языкового уровня, относятся: проявление при порождении/восприятии речи, межъязыковое/внутриязыковое влияние, нарушение плана выражения/плана содержания и т.д. Параметрами, специфическими для словообразования, являются нарушение правил перемещения ударения с корня на аффикс, нарушение правил наращивания/усечения основы, нарушение правил чередования, неверный выбор морфемы из нескольких синонимов или вариантов и т.п.

Разбиение на классы по указанным параметрам производится следующим образом.

1. Прежде всего весь массив ошибок разбивается на классы ошибок, наблюдаемых при *порождении* речи, и ошибок, допущенных при *восприятии*.

2. Далее ошибки сортируются по видам речевой деятельности, в которых они были зафиксированы: *говорение, письмо, чтение, аудирование*, причем существуют типы ошибок, которые могут быть обнаружены только в одном из видов речевой деятельности, например, написания типа *оффицерский, сороканожка, сталетие* (в устной речи соответствующие нарушения не могут быть замечены).

3. Затем происходит разбиение ошибок по значению параметра «источник влияния», принимающего значения «межъязыковое», «внутриязыковое» или «комбинированное влияние». Например, появление образований типа *футболист* (с ударением на первом слоге) продиктовано межъязыковым влиянием английского языка как первичного, в то время, как произношение *футболист* говорит о влиянии вторичного языка — русского. Случаи комбинированного влияния редки (они составляют 2% от общего числа ошибок) и представлены такими примерами, как *поствоенный* (*postwar* и *постперестроечный*) и *японезский* (*Japanese* и *конголезский*).

4. Следующим этапом является сортировка ошибок на случаи нарушения плана выражения и плана содержания, среди которых, в свою очередь, выделяются коммуникативно-релевантные и коммуникативно-нерелевантные. Все случаи ошибок восприятия коммуникативно-релевантны: например, *огородец* понимаемое как *огородник*. Ошибки порождения речи могут быть коммуникативно-релевантными и коммуникативно-нерелевантными: *пепелник* в значении *пепельница*, *дипломатичный* употребляемое как *дипломатический*.

5. Наконец, производится сортировка уже внутри полученных классов по тому, в каком аспекте плана выражения или плана содержания допущена ошибка: не учитываются подвижность русского ударения при словообразовании (*гитарист*, *лѐсник*), правила чередования в основе (*левѐнок*, *елька*) и на морфемном шве (*бумагный*, *нагрудный*), правила усечения (*Кузьмович*) и наращения основы (*чайница* в значении *чаевница*), порядок корней в сложных словах (*кровать-диван*), правила согласования по роду (*большая домина*, *маленькое городишко*). Наблюдаются случаи аналогической (*не подружка*, *а повражка*¹) и обратной деривации (*прач* в значении *мужчина-прачка*). Зафиксированы случаи, когда корневая морфема заменяется синонимичной (*полутемнота* в значении *полумрак*), неправильно выбирается аффикс из нескольких синонимичных (*богича*, *варварщина*) или аффиксoid (*грушеподобный* в значении *грушевидный*). Нарушения плана содержания представлены классом паронимов, которые входят в систему русского языка (*вражеский* в

¹ *Повражка* от *враг*.

значении *враждебный*), а также словами, не имеющими нарушений в плане выражения, но употребляемыми в другом значении (*банщик* в значении *любитель бани*, *молодица* в значении *молодец* о женщине). Внутри класса ошибок восприятия выделяются случаи неверного членения (*дьяволов — тот, кто ловит дьявола*, пример зафиксирован при чтении, так что не было возможности опереться на ударение при интерпретации модели), неверного толкования отдельных морфем, как правило, полисемичных или имеющих омонимы (*бракодел — тот, кто заключает браки*) или сочетания морфем (*гусеница* понимается как *гусыня*, *самоед — как тот, кто едет самостоятельно*), и т.д. Несмотря на разнообразие словообразовательных ошибок, зафиксированных в речи иностранцев, причиной их появления, как правило, служит влияние системы первичного или вторичного языка. Необходимо отметить, что зафиксированные системно обусловленные ошибки могут являться нарушениями не только нормы русского языка (*лошаденок*), но также его системы (*лексенок*, *книжонок*) и узуса (*опоссуменок*, *пчеленок*). Присоединение суффикса *-он*к-* возможно только к корневой морфеме, толкование которой содержит сему 'живое существо'. Образования типа *лексенок* нарушают это системное требование; образование *лошаденок* возможно с точки зрения законов системы, но для номинации соответствующего денотата в языке существует слово *жеребенок*, поэтому *лошаденок* согласуется с системой, но не входит в норму. Слова же типа *опоссуменок* не входят в противоречие ни с системой, ни с нормой, но редко употребляются, неузуальны. Особый интерес представляют слова из речи иностранцев, выступающие как проявления потенций словообразовательной системы русского языка, — устаревшие слова, диалектизмы, слова из других славянских языков, например, образования типа *борение*, *авторка*, *варварщина*. Их появление является одним из подтверждений реальности существования законов словообразовательной системы и сходства этих законов в родственных славянских языках.

V. Основные выводы.

Взрослый иностранец, говоря по-русски, интуитивно стремится к систематизации языковых фактов и явлений, которую он осуществляет как в плане содержания, так и в плане выражения языко-

вых единиц на основе генерализации. Систематизация фактов приводит к построению интеръязыка — системы, включающей черты первичного и вторичного языков, но не совпадающей ни с одной из них. Большая часть ошибок на уровне словообразования в речи иностранцев представляет собой гиперкоррективизмы, т.е. верные с точки зрения системы вторичного языка образования; нарушения системы вторичного языка встречаются достаточно редко. Следовательно, нарушения системы, нормы или узуса в русской речи иностранцев в принципе прогнозируемы. Их появление определяется особенностями первичного, вторичного языков или их соотношения. Эта прогнозируемость имеет принципиальное значение для использования результатов подобных исследований при построении методик обучения вторичному языку взрослых. Существуют как общие закономерности проявления интерференции на разных уровнях языковой системы, так и закономерности, специфичные для определенного языкового уровня. Получены следующие статистические соотношения.

1. Вероятность появления ошибок неравномерно распределена по различным видам речевой деятельности. Подавляющее число случаев нарушения системы, нормы или узуса зафиксировано при порождении речи (91%), причем максимальное при говорении (96%), гораздо меньшее — на письме (4%). Значительно меньшее число нарушений наблюдается при восприятии (9%), причем больше случаев нарушения дает аудирование (92%), гораздо меньше — чтение (8%). Это объясняется большей сложностью механизмов порождения речи по сравнению с механизмами понимания.

2. На уровне словообразования основное мотивирующее влияние при появлении ошибок в речи на вторичном языке имеет система вторичного языка. Среди описанных классов ошибок наибольшее число нарушений (92%) возникло под влиянием внутриязыкового влияния, случаи межъязыковой и комбинированной интерференции на материале словообразования сравнительно редки и составляют соответственно 6% и 2%. С точки зрения влияния речевых ошибок на акт коммуникации необходимо отметить, что нарушения плана выражения чаще всего коммуникативно-релевантны. При межъязыковой интерференции они могут приводить к комму-

никативному срыву, поскольку собеседник — носитель русского языка может не понять механизма влияния первичного языка (английского или французского); в случае внутриязыкового влияния механизм аналогии вторичного языка (русского, который является для собеседника первичным) все-таки чаще всего вычислим. Нарушение плана содержания может приводить к коммуникативному конфликту, когда говорящий не может адекватно выразить своих коммуникативных намерений. Ряд результатов исследования, выполненного на материале словообразовательных ошибок в русской речи иностранцев, соответствует результатам, полученным С. П. Цейтлин [Цейтлин 1989] на материале словообразования в речи русских детей. В речи иностранцев, как и в речи детей, при образовании производных слов, являющихся реализацией законов системы, но не соответствующих правилам нормы или узуса, происходит заполнение лакун, существующих в литературном языке из-за занятости соответствующей единицы плана содержания другой лексемой или существования аналитической единицы номинации. Наиболее частыми источниками нарушений в речи иностранцев так же, как и в речи детей, являются слова, в которых отсутствует «морфотактическая прозрачность», не совпадают границы морфемного и слогового членения, при присоединении аффиксов происходит перемещение ударения. Как и в детской речи, представлены случаи обратной и аналогической деривации, механизмом образования которых служит механизм языковой аналогии. Принцип аналогии объективно существует в языке, хотя зачастую используется субъективно, т.е. аналогия может проводиться не по тому признаку, по которому она установлена в языке. Необходимо отметить, что термин «ложная аналогия», употребляемый некоторыми авторами для описания образований по аналогии в речи детей и иностранцев, представляется не вполне адекватным, поскольку аналогия в данном случае не является ложной. Она неузуальна, но вполне закономерна. Часто конструируются новые слова в соответствии с пропорцией квадрата Гринберга, такие решения не «ложны», они не закреплены правилами нормы или узуса (*певец: певица = пловец: пловщица*). Описание картины проявления внутриязыкового и межъязыкового влияния на словообразовательном уровне в русской речи иностранцев в очередной раз подтверждает закон асимметрии языково-

го знака. В числе возможных перспектив дальнейших исследований можно назвать следующие:

- создание метаязыка для описания языковых словообразовательных систем с целью их сопоставления и прогнозирования возможных ошибок при использовании этих языков как вторичных;
- выполнение параметрических описаний межъязыкового и внутриязыкового влияний на других уровнях языковой системы: фонетическом, синтаксическом и т.д., что могло бы послужить инструментом для исследования межуровневых влияний;
- выполнение последовательного сопоставления ошибок иностранцев, имеющих разные первичные языки;
- исследование роли контекста в появлении ошибок и т.д.

Литература

- Апресян 1995 — Апресян Ю.Д. Избранные труды. Том 1. Лексическая семантика. — М., 1995.
- Верещагин 1967 — Верещагин Е.М. Психолингвистическая проблематика теории языковых контактов (обзор литературы) // Вопросы языкознания. — 1967. — № 6.
- Верещагин 1968 — Верещагин Е.М. Понятие «интерференции» в лингвистической и психологической литературе // Иностранные языки в высшей школе. — Вып. 4. — М., 1968 г.
- Верещагин 1969 — Верещагин Е.М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма). — М., 1969.
- Воронин 1968 — Воронин Б.Ф. Ошибки в русской речи иностранца как психолингвистическая проблема // Психология грамматики. — М., 1968.
- Воронин 1970 — Воронин Б.Ф. Психолингвистическая модель механизма порождения грамматических ошибок в устной речи на иностранном языке // Актуальные проблемы психологии обучения языку. — М., 1970.
- Гвоздев 1961 — Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. — М., 1961.
- Ди Пьетро 1989 — Ди Пьетро Р.Дж. Языковые структуры в контрасте // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 25. — М., 1989.
- Карлинский 1990 — Карлинский А.Е. Основы теории взаимодействия языков. — Алма-Ата, 1990.
- Митрофанова 1980 — Митрофанова Л.Я. К вопросу типологии ошибок студентов-иностранцев, владеющих английским языком // Русский язык как иностранный. — Воронеж, 1980.
- Мокиенко 1983 — Мокиенко В.М. Проблемы интерференции при обучении русскому языку на старших курсах // Лингвометодические основы преподавания РКИ на старших курсах. — Свердловск, 1983.

- Немзер 1989 — Немзер У. Проблемы и перспективы контрастивной лингвистики // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 25. — М., 1989.
- Хельбиг 1989 — Хельбиг Г. Языкознание — сопоставление — преподавание иностранных языков // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 25. — М., 1989.
- Цейтлин 1992 — Цейтлин С.Н. Детская речь: инновации формообразования и словообразования. АДД. — Л., 1989.
- Щерба 1965 — Щерба Л.В. О тroyаком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях. — Ч. II. — М., 1965.
- Corder 1974 — Corder S. The Significans of Learners' Errors // Richards J.C. (ed.). Error Analysis. — London, 1974.
- Ferguson 1991 — Ferguson Ch.A. Currents between second language acquisition and linguistic theory // Huebner T., Ferguson Ch.A. (ed.). Crosscurrents in Second Language Aquisition and Linguistic Theories. — Amsterdam—Philadelphia, 1991.
- Frei 1929 — Frei H. La grammaire des fautes. — Paris, 1929.
- Jain 1974 — Jain M. Error Analysis: Source, Cause and Significance // Richards J.C. (ed.). Error Analysis. — London, 1974.
- Richards 1974 — Richards, J.C. A Non-Contrastive Approach to Error Analysis // Richards J.C. (ed.). Error Analysis. — London, 1974.

А. В. Гладкий

A. V. Gladkij

К процедуре построения систем
синтаксических групп

On the Procedure of the Construction
of Syntactical Group System

I. В параграфе 4.6 нашей книги о синтаксических структурах естественного языка [Гладкий 1985] предложена полуформальная процедура синтаксического анализа предложения в терминах систем синтаксических групп (ССГ), представляющих собой одновременное обобщение деревьев подчинения и систем составляющих. На одном из шагов процедуры используется техническое понятие «правильного словосочетания», формальное определение которого, как недавно выяснилось (это было обнаружено студентом факультета теоретической и прикладной лингвистики РГГУ О. Ю. Шалимовым при изучении с помощью ССГ синтаксиса «Сорочинской ярмарки» Н. В. Гоголя), не полностью соответствует тем интуитивным соображениям, которыми руководствовался автор при введении этого понятия. Исправлению этой неточности и посвящена настоящая заметка.

II. Прежде всего напомним необходимые для дальнейшего определения.

1. Множество M с заданным на нем бинарным отношением R называется графом и обозначается $\langle M, R \rangle$. Элементы множества M

называются узлами графа. Пара узлов (a, b) , для которой имеет место aRb , называется дугой графа; a есть начало этой дуги, b — ее конец. Вместо «пара (a, b) является дугой» говорим «из a в b идет дуга» или « a подчиняет b ». Конечная последовательность узлов графа называется путем, если в ней из каждого предыдущего узла идет дуга в следующий. Путь, у которого первый и последний узлы совпадают, называется циклом.

Конечный граф называется деревом, если а) в нем имеется единственный узел (называемый корнем), который не является концом никакой дуги; б) всякий его узел, отличный от корня, является концом точно одной дуги; в) в нем нет замкнутых путей (т.е. путей, концы которых совпадают с началами).

2. Предложение формально представляется как конечное линейно упорядоченное множество P (элементы которого, называемые точками, представляют вхождения слов в предложение).

Если A и B — подмножества P и в множестве A есть хотя бы одна точка, слева и справа от которой имеются точки множества B , мы говорим, что A расщепляет B . Если каждое из двух множеств A и B расщепляет другое, мы говорим, что A и B зацепляются. (Например, в предложении *Темно-зелеными садами ее покрылись островами словосочетания садами... покрылись и ее... острова* зацепляются.)

3. Граф $\langle C; \rightarrow \rangle$, где C — некоторое множество непустых подмножеств P (называемых синтаксическими группами, сокращенно СГ), называется системой синтаксических групп (ССГ), если он удовлетворяет следующим восьми аксиомам:

1'. C содержит в качестве элементов множество P и все одноэлементные подмножества этого множества (т.е. само предложение и все вхождения слов в это предложение).

2'. Любые две СГ либо не имеют общих точек, либо одна из них содержится в другой.

3'. Никакие две СГ не зацепляются.

4'. Если $E_1 \rightarrow E_2$, то E_1 и E_2 непосредственно вложены в одну и ту же СГ. (СГ A непосредственно вложена в СГ B , если A есть собственная часть B и не существует такой СГ D , что A есть собственная часть D и D есть собственная часть B .)

\mathcal{R}_2 . Граф $\langle C; \rightarrow \rangle$ не содержит циклов.

\mathcal{R}_3 . Если $E_1 \rightarrow E$ и $E_2 \rightarrow E$, то $E_1 = E_2$.

\mathcal{R}_4 . Если $E_1 \rightarrow E_2$ и E — произвольная СГ, то множества E и $E_1 \cup E_2$ не зацепляются.

\mathcal{R}_5 . Если $E_1 \rightarrow E_2$, $E_3 \rightarrow E_4$, то множества $E_1 \cup E_2$ и $E_3 \cup E_4$ не зацепляются.

ССГ называется сильной, если она удовлетворяет еще двум аксиомам:

\mathcal{R}_6 . Если $E_1 \rightarrow E_2$, то E_1 не расщепляет E_2 .

\mathcal{R}_7 . Если $E_1 \rightarrow E_2 \rightarrow E_3$, то E_1 не расщепляет $E_2 \cup E_3$.

III. 1. Рассматриваемая процедура синтаксического анализа состоит в построении ССГ с использованием некоторых доставляемых нам интуицией сведений о «составных частях» предложения.

Мы исходим из допущения, что интуиция «образованного носителя языка» (точнее — лингвиста, для которого данный язык является родным) позволяет ему находить в предложении связные группы слов, синтаксические связи и семантические связи. Остановимся на этих понятиях подробнее.

Связная группа слов — это группа слов, выполняющая единую синтаксическую функцию. Связные группы слов, в некотором интуитивно более или менее понятном смысле «эквивалентные» отдельным словам (аналитические формы глаголов, предложно-падежные формы существительных, составные предлоги и т.п.), называются составными словами, все остальные связные группы слов — словосочетаниями. Словосочетание рассматривается как состоящее из двух или более непосредственно вложенных в него слов и/или словосочетаний, называемых его членами (составные слова мы также причисляем здесь к словам); при этом разбиение словосочетания на члены, вообще говоря, неоднозначно. (Например, словосочетание *древние стены города* может рассматриваться как состоящее из членов *древние стены* и *города* или из членов *древние* и *стены города*.) Словосочетания могут быть разрывными, т.е. не обязательно являются отрезками. Все предложение также считается словосочетанием.

Интуитивно устанавливаемая синтаксическая связь возможна между двумя словами (одно из которых или оба могут быть составными), или между двумя словосочетаниями, или между словом и словосочетанием. Никакие ограничения (в частности, типа «древесности» или «проективности») на граф этих связей не накладываются. Синтаксические связи разделяются на подчинительные (направленные) и сочинительные (ненаправленные), но никакие типы тех или других не выделяются. Не исключаются случаи, когда какое-либо слово или словосочетание не участвует ни в одной связи.

Все СГ, из которых состоит ССГ, построение которой является целью нашей процедуры, входят в число интуитивно выделяемых единиц групп слов. (Обратное неверно уже потому, что среди этих групп могут быть частично перекрывающиеся, как в только что приведенном примере, в то время как СГ частично перекрываются не могут — см. аксиому \mathcal{L}_2). Точно так же все связи между этими СГ (в смысле отношения \rightarrow , описываемого нашей системой аксиом) входят в число интуитивно устанавливаемых синтаксических связей. Таким образом, при построении ССГ мы должны отобрать из интуитивно найденных связных групп слов и синтаксических связей те, которые в нее войдут; для этого и служит наша процедура. При отборе используются, в частности, интуитивно устанавливаемые семантические связи (которые сами в ССГ не входят). Все семантические связи — направленные; в отличие от синтаксических, они разделяются на типы, отвечающие различным семантическим отношениям (например, «быть свойством», «быть местом, где», «быть временем, когда»); однако никакой твердый перечень этих типов не фиксируется.

При построении ССГ используется также понятие контекста, которое мы уточняем следующим образом.

Контекстом слова или словосочетания A мы называем словосочетание, для которого A служит одним из членов и в котором либо имеется, кроме A , еще только один член C , связанный с A подчинительной связью (в этом случае контекст называется подчинительным, A называется его первым членом, C — вторым членом), либо подчинительные связи между членами отсутствуют (такой контекст называется неподчинительным).

Подчинительные контексты, у которых второй член есть полноценное слово (словосочетание) или слово (словосочетание)-заместитель, называются термовыми, все остальные контексты (в том числе неподчинительные) — операторными. (Таковы, в частности, контексты, у которых второй член есть указательное местоимение, кванторное слово, несинтаксическая частица типа *же, ведь, -то*, асемантический глагол.)

2. Для решения вопроса, должна ли та или иная связная группа слов выделяться в СГ, в книге предложены четыре критерия.

Критерий А. Составные слова выделяются в СГ в любом контексте.

Критерий Б. Словосочетание выделяется в СГ в любом контексте, если либо граф, образованный его членами, не является деревом, либо его корень не способен подчиняться ни одному из тех слов и словосочетаний, которым способно подчиняться оно само.

По этому критерию выделяются в СГ, в частности, неподчинительные контексты (они не образуют деревьев) и придаточные части сложноподчиненных предложений (например, в предложении *Я нашел книгу, которую ты потерял* корень придаточной части *потерял* не способен подчиняться ни одному из тех слов и словосочетаний, которым способна подчиняться она сама).

Связные группы слов, выделяемые в СГ в любом контексте, мы называем абсолютно неразложимыми.

Таким образом, критерии А и Б — это критерии абсолютной неразложимости. Оставшиеся два критерия являются критериями контекстной неразложимости, т.е. неразложимости в определенных контекстах.

Критерий В. В операторном контексте всякое словосочетание неразложимо.

Критерий Г, самый продуктивный и самый сложный, мы сформулируем здесь лишь для частного случая семантически согласованного контекста (к которому относится, впрочем, большинство термовых контекстов). Так мы называем термовый контекст, у которого синтаксическая связь между членами реализует некоторое семантическое отношение. (Примером семантически

несогласованного контекста может служить словосочетание *гулял в шляпе*, независимо от того, какой из его членов считать первым и какой вторым: между его членами есть синтаксическая связь, но нет семантической, поскольку *в шляпе* относится по смыслу не к гулянию, а к тому, кто гулял. О том, как критерий Г распространяется на семантически несогласованные контексты, мы здесь говорить не будем.)

Для формулировки критерия Г вводится следующее понятие.

Пусть D — словосочетание, состоящее из двух членов A и C , между которыми имеется подчинительная связь, реализующая некоторое семантическое отношение s , и пусть при этом A — также словосочетание, члены которого образуют дерево. Пусть, кроме того, r_1, \dots, r_k — перечень семантических отношений, имеющих место между членами A , и пусть Q — предложение, выражающее факт наличия отношения s между C и A , Q' — предложение, выражающее факт наличия того же отношения s между C и корнем A , R_i ($i = 1, \dots, k$) — предложение, выражающее факт наличия отношения r_i между соответствующими членами A . Тогда отношение s между C и A называется семантически разложимым, если предложение Q синонимично конъюнкции предложений Q', R_1, \dots, R_k (иначе говоря — если отношение s между C и A «эквивалентно по смыслу» такому же отношению между C и корнем A , дополненному совокупностью семантических отношений между членами A).

Например, если $D = \overbrace{\text{Вчера}}^i \overbrace{\text{он работал в саду}}^A$, то Q можно представить как «Время, когда он работал в саду — вчера», Q' — как «Время работы — вчера», R_1 — как «Тот, кто работал — он», R_2 — как «Место работы — сад».

Если $D = \overbrace{\text{старик}}^C \overbrace{\text{с живыми глазами}}^A$, то Q можно представить как «Иметь живые глаза — свойство старика» = «У старика живые глаза», Q' — как «Иметь глаза — свойство старика» = «У старика глаза», R_1 — как «Быть живыми — свойство глаз» = «Глаза живые». В первом примере семантическое отношение между C и A семантически разложимо, во втором — семантически неразложимо (поскольку предложение *У старика живые глаза* не синонимично предложению *У старика глаза, и глаза живые*).

Теперь критерий Г для рассматриваемого частного случая можно сформулировать так: словосочетание неразложимо в семантически согласованном термовом контексте тогда и только тогда, когда имеющееся между членами контекста семантическое отношение семантически неразложимо.

Например, словосочетание *он работал в саду* в контексте *Вчера он работал в саду* разложимо; словосочетание *с живыми глазами* в контексте *старик с живыми глазами* неразложимо.

3. Процедура построения ССГ состоит из двух этапов. На первом этапе в данном предложении выделяются в СГ все составные слова и определяется (на основании интуитивных соображений) отношение для тех СГ, которые являются собственными частями составных слов; сделать это нужно так, чтобы выполнялись все десять аксиом сильной ССГ. Второй этап состоит в последовательном выполнении циклов, на каждом из которых к ранее построенным СГ добавляется еще одна, причем построение СГ производится «изнутри наружу»: каждую новую СГ мы «собираем» из старых. Описание этих циклов следует ниже.

Пусть \mathfrak{B}_{i-1} ($i = 1, 2, \dots$) есть множество тех СГ, отличных от всего предложения, которые выделены к началу i -го цикла (включая слова и составные слова), и \mathfrak{D}_{i-1} — множество тех СГ из \mathfrak{B}_{i-1} , которые не являются собственными частями каких-либо СГ из \mathfrak{B}_{i-1} . Допустим, что к началу i -го цикла для всех элементов разности $\mathfrak{B}_{i-1} \setminus \mathfrak{D}_{i-1}$ уже определено отношение \rightarrow , причем соответствующий граф удовлетворяет всем аксиомам сильной ССГ. (При $i = 1$ это условие выполняется — см. предыдущий абзац.)

Обозначим теперь через \mathfrak{M}_{i-1} множество всех отличных от всего предложения словосочетаний, членами которых являются элементы \mathfrak{D}_{i-1} . Рассмотрим всевозможные интуитивно устанавливаемые подчинительные связи между элементами объединения $\mathfrak{D}_{i-1} \cup \mathfrak{M}_{i-1}$. Выбросим из \mathfrak{M}_{i-1} все словосочетания, которые в смысле интуитивно устанавливаемого отношения синтаксического подчинения зацепляются элементами объединения $\mathfrak{D}_{i-1} \cup \mathfrak{M}_{i-1}$ (в частности, если два элемента \mathfrak{M}_{i-1} зацепляются, оба они выбрасываются) или расщепляются подчиняющими их элементами того же объединения. Полученное таким образом множество обозначим \mathfrak{M}'_{i-1} .

Далее в игру вступает понятие «правильного словосочетания», точное определение которого мы отложим, поскольку его нам как раз и предстоит исправить. Содержательный смысл этого понятия состоит в следующем. Пусть элементы некоторого подмножества множества \mathfrak{M}'_{i-1} , связанные между собой интуитивно устанавливаемым отношением синтаксического подчинения, образуют дерево, и входящие в это подмножество словосочетания являются поддеревьями этого дерева. Такое поддерево (словосочетание) объявляется правильным, если оно удовлетворяет тому условию, что ни к одному его узлу, отличному от корня, не «подвешено» никакое словосочетание, также входящее в \mathfrak{M}'_{i-1} и не содержащееся в данном словосочетании.

Например, для предложения *Предстоит трудная работа* множество \mathfrak{M}'_0 (совпадающее с \mathfrak{M}_0) состоит из словосочетаний *трудная работа* и *предстоит... работа*; первое из них — правильное, второе — неправильное (поскольку к его узлу *работа* «подвешено» словосочетание *трудная работа*). Однако при этом учитываются только словосочетания, входящие в \mathfrak{M}'_{i-1} . Поэтому для предложения *Работа предстоит трудная* картина меняется: \mathfrak{M}_0 состоит теперь из словосочетаний *работа... трудная* и *работа предстоит*, первое из которых выбрасывается как расщепляемое подчиняющим его словом *предстоит*, так что в \mathfrak{M}'_0 остается одно словосочетание *работа предстоит*, и оно является правильным.

Итак процедура продолжается следующим образом: выбрасываются из \mathfrak{M}'_{i-1} неправильные словосочетания до тех пор, пока либо будут выброшены все, либо все оставшиеся станут правильными по отношению к новому, «меньшему» множеству, которое мы обозначим \mathfrak{M}'_i . (Это множество строится, вообще говоря, неоднозначно: оно зависит от порядка выбрасывания неправильных словосочетаний.)

Содержательный смысл этой части цикла состоит в том, что «младшим» словосочетаниям отдается при выделении в синтаксические группы предпочтение перед «старшими»: если, допустим, A подчиняет B и B подчиняет C , то словосочетание AB оказывается неправильным и поэтому исключается из проверок на неразложимость (см. ниже) и ни при каких условиях не выделяется в СГ. Например, в предложении *Предстоит трудная работа* исключается из

проверок словосочетание *предстоит... работа*. Но если словосочетание *BC* до этого было выброшено как зацепляющееся с другим элементом множества $\mathfrak{D}_{i-1} \cup \mathfrak{M}_{i-1}$ или расщепляемое подчиняющим его элементом этого множества, то *AB* будет правильными и может при наличии соответствующих условий выделиться в СГ. Например, в предложении *Работа предстоит трудная* словосочетание *работа предстоит* выделяется в СГ (см. ниже).

Если множество \mathfrak{N}_{i-1} пусто, возможны два случая.

(1) Интуитивно устанавливаемое отношение синтаксического подчинения на \mathfrak{D}_{i-1} удовлетворяет аксиомам \mathcal{R}_{1-7} . Тогда мы отождествляем это отношение (на \mathfrak{D}_{i-1}) с основным отношением \rightarrow , и процедура заканчивается.

(2) Указанное отношение не удовлетворяет данным аксиомам. Тогда процедура обрывается безрезультатно.

Если же \mathfrak{N}_{i-1} не пусто, переходим к основной части i -го цикла, состоящей в том, что все словосочетания из \mathfrak{N}_{i-1} в определенном порядке, указываемом ниже, проверяются на неразложимость. При этом каждое словосочетание сначала проверяется на абсолютную неразложимость по критерию Б, а затем, если оно не оказалось абсолютно неразложимым, на контекстную неразложимость по критериям В и Г в контекстах, членами которых служат элементы \mathfrak{D}_{i-1} , причем сначала ищутся операторные контексты, а если их не нашлось, проверяются термовые (в произвольном порядке). Контексты, расщепляемые подчиняющими их элементами $\mathfrak{D}_{i-1} \cup \mathfrak{N}_{i-1}$, проверке не подлежат. Этот процесс продолжается до тех пор, пока либо будет установлена неразложимость какого-либо словосочетания $D \in \mathfrak{N}_{i-1}$ (абсолютная или в одном из рассматриваемых контекстов), либо будут проверены все словосочетания из \mathfrak{N}_{i-1} , и все они окажутся разложимыми. В первом случае D объявляется синтаксической группой, интуитивное отношение синтаксического подчинения на множестве членов D отождествляется с \rightarrow , если это не ведет к нарушению аксиом \mathcal{R}_{1-7} , и цикл заканчивается. Во втором случае интуитивное отношение синтаксического подчинения на \mathfrak{D}_{i-1} с той же оговоркой отождествляется с \rightarrow , и этим заканчивается вся процедура. В обоих случаях при нарушении аксиом \mathcal{R}_{1-7} процедура обрывается безрезультатно.

Остается описать порядок, в котором словосочетания проверяются на неразложимость. Он задается следующими правилами:

- словосочетание с меньшим числом членов проверяется раньше, чем словосочетание с большим числом членов;
- при одинаковом числе членов сначала проверяются словосочетания, не расщепляемые никакими элементами \mathfrak{N}_{i-1} , затем расщепляемые одним элементом, затем двумя и т.д.;
- в остальном порядок проверки произволен.

Примеры.

(а) Для предложения *Предстоит трудная работа* процедура сводится к первому циклу второго этапа (первый этап отсутствует, т. к. составных слов нет). По критериям Б и В никакие СГ не выделяются. Применяя критерий Г, проверяем на семантическую разложимость единственное правильное словосочетание *трудная работа*, для которого имеется, очевидно, только один контекст — со вторым членом *предстоит*. В этом контексте данное словосочетание семантически разложимо, поскольку предложение «То, что предстоит — трудная работа» синонимично конъюнкции предложений «То, что предстоит — работа» и «Работа трудная». Поэтому в данном предложении не выделяется никаких нетривиальных СГ (т.е. отличных от отдельных слов и от всего предложения), и ССГ совпадает с обычным деревом подчинения.

(б) Для предложения *Работа предстоит трудная* единственным проверяемым на семантическую неразложимость словосочетанием является *работа предстоит*, и оно оказывается семантически неразложимым, поскольку второй член контекста — слово *трудная* — связан по смыслу не с корнем первого члена — словом *предстоит*, — а со словом *работа*. Поэтому данное словосочетание выделяется в СГ.

IV. Определение правильного словосочетания сформулировано в книге (с. 68) следующим образом: словосочетание $D \in \mathfrak{M}'_{i-1}$ называется правильным, если никакому его члену, не являющемуся корнем, не подчинен в смысле интуитивно устанавливаемого отношения синтаксического подчинения никакой не входящий в D член какого-либо другого словосочетания из \mathfrak{M} , пересекающегося с D , но не содержащего D целиком.

Оказалось, однако (в этом и состоит неточность, обнаруженная О. Ю. Шалимовым), что при таком определении объем понятия правильного словосочетания оказывается несколько уже, чем требуют приведенные выше интуитивные соображения. Пусть, например, A подчиняет B и D , B подчиняет C , и в начале цикла словосочетание BC выброшено, в то время как ABD и ABC сохранились. Тогда ABD все-таки будет неправильным, поскольку его члену B , не являющемуся корнем, подчинен элемент C словосочетания ABC , пересекающегося с ABD , но не содержащего ABD целиком. Это может привести к безрезультатному обрыву процедуры, если интуитивно устанавливаемые синтаксические связи между СГ, полученными к моменту ее окончания, не удовлетворяют «аксиомам проективности» ($\mathcal{R}_5, \mathcal{R}_6, \mathcal{R}_7$).

Такая ситуация может возникнуть только для тех предложений, которые при анализе с помощью обычных деревьев подчинения оказываются непроективными (и притом, по-видимому, лишь в относительно редких случаях). В «Сорочинской ярмарке» имеются три таких случая (всего там найдено 18 «непроективных» предложений): ... ей стоило упросить отца взять с собой, который...; Черт их и припомнит всех; ... на котором меня заставили выбивать зорю, словно москаля, те самые свиные рожи...

Рассмотрим второй из этих случаев, самый простой.

Поскольку в предложении *Черт их и припомнит всех* нет составных слов, процедура сводится ко второму этапу. Множество \mathcal{M}_0 состоит из следующих словосочетаний:

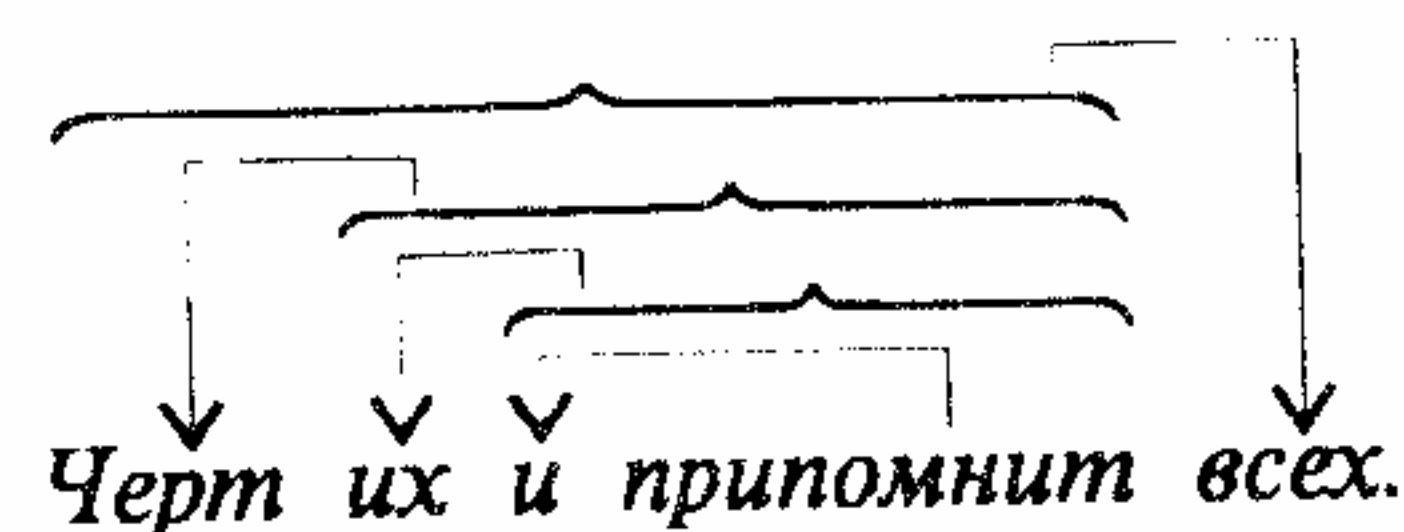
- $A_1 = \text{черт припомнит};$
- $A_2 = \text{их припомнит};$
- $A_3 = \text{их всех};$
- $A_4 = \text{и припомнит};$
- $A_5 = \text{черт их припомнит};$
- $A_6 = \text{черт и припомнит};$
- $A_7 = \text{их и припомнит};$
- $A_8 = \text{их припомнит всех};$
- $A_9 = \text{черт их и припомнит};$
- $A_{10} = \text{черт их припомнит всех};$
- $A_{11} = \text{их и припомнит всех}.$

Словосочетания A_1, A_3 и A_6 выбрасываются как зацепляющиеся. Словосочетания A_5, A_7 и A_9 выбрасываются как неправильные. (Например, A_7 неправильно потому, что его члену $их$ подчинено слово $всех$, входящее в словосочетания A_8 и A_{10} , пересекающиеся с A_7 , но не содержащие A_7 целиком.) Из остающихся словосочетаний первым проверяется на неразложимость A_4 , которое выделяется в СГ как подчинительный операторный контекст (§ 5.4, пункт Г9). На этом заканчивается первый цикл, после чего остается единственное словосочетание A_2 , которое, как нетрудно убедиться, разложимо. Таким образом, процедура останавливается на втором цикле, причем единственной нетривиальной СГ оказывается A_2 . Но отношение подчинения на множестве полученных СГ не удовлетворяет аксиоме \mathcal{R}_5 (стрелка $A_4 \rightarrow \text{черт}$ пересекается со стрелкой $их \rightarrow \text{всех}$), так что остановка оказывается безрезультатной.

Исправить положение, по-видимому, нетрудно. Достаточно изменить определение правильного словосочетания следующим образом: словосочетание $D \in \mathcal{M}'_{i-1}$ называется правильным, если никакому его члену X , не являющемуся корнем, не подчинен (в смысле интуитивного отношения подчинения) никакой член какого-либо другого словосочетания из \mathcal{M}'_{i-1} , пересечение которого с D состоит из единственного элемента X . При таком изменении определения останутся неправильными только те словосочетания, к которым «подвешены», и притом не за корень, подчиненные им «младшие» (ср. приведенное выше, в разделе III, объяснение содержательного смысла понятия правильного словосочетания).

Возвращаясь теперь к нашему примеру, нетрудно убедиться, что при указанном изменении определения неправильные словосочетания вообще не возникнут. Например, для A_7 имеется только одно словосочетание (а именно, A_3), обладающее тем свойством, что некоторый его член Y (здесь $Y = \text{всех}$) подчинен некоторому члену X словосочетания (у нас $X = \text{их}$), и при этом пересечение этих двух словосочетаний состоит из единственного элемента X . Но A_3 выброшено в начале цикла, так что A_7 остается правильным. Затем процедура протекает следующим образом: как и прежде, первым проверяется на неразложимость A_2 и выделяется в СГ. Этим заканчивается

первый цикл, после чего остаются словосочетания A_7 , A_9 и A_{11} , образующие множество \mathcal{M}_1 . Легко видеть, что ни одно из них не выбрасывается, т.е. $\mathcal{M}_1 = \mathcal{M}'_1 = \mathcal{M}_1$. Первым проверяется на неразложимость словосочетание A_7 ; в контексте *их и припомнит всех* оно оказывается неразложимым по критерию Г, поскольку по соображениям проективности слово *всех* не может быть здесь истолковано как подчиненное слову *их* (ср. § 5.4, пункт Г6). На этом заканчивается второй цикл, после чего остаются словосочетания A_9 и A_{11} , образующие множество \mathcal{M}_2 . На третьем цикле аналогично предыдущему выделяется в СГ словосочетание A_9 , и множество \mathcal{M}_3 оказывается пустым. Легко убедиться, что интуитивное отношение подчинения на \mathcal{D}_3 удовлетворяет всем аксиомам сильной ССГ, так что процедура заканчивается на третьем цикле и дает следующую (сильную) ССГ:



Итак, вместо безрезультатного обрыва процедуры мы получили «разорванную структуру» (см. § 8.2). Аналогично обстоит дело в двух других упомянутых выше примерах.

V. Добавление

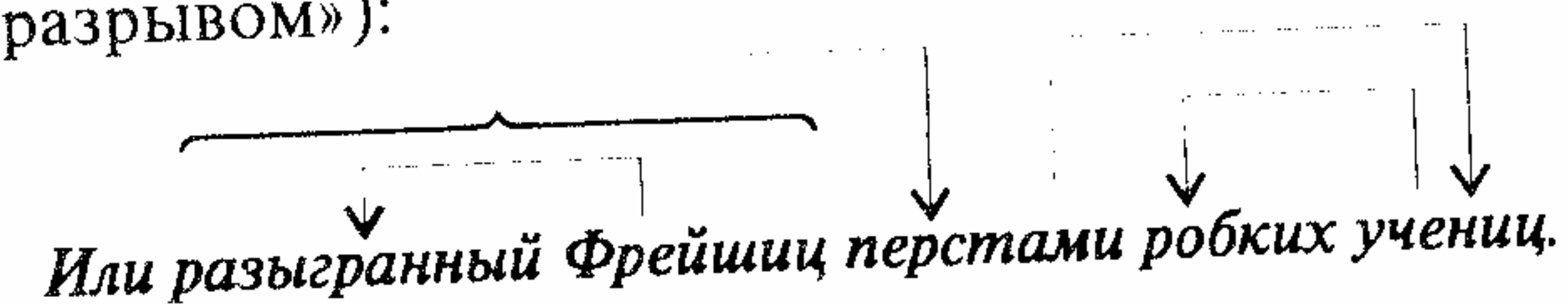
1. В примере (8.4) на с. 129 нашей книги (*Или разыгранный Фрейшиц перстами робких учениц*) имеется очевидная ошибка: слово *Фрейшиц* рассматривается как подчиненное слову *разыгранный*, тогда как в действительности стрелку нужно провести, разумеется, в обратном направлении. Проследим, как работает для этого примера наша процедура.

Составных слов здесь нет; процедура сводится ко второму этапу. \mathcal{M}_0 состоит из словосочетаний:

- $A_1 =$ *разыгранный Фрейшиц*;
- $A_2 =$ *разыгранный перстами*;
- $A_3 =$ *перстами учениц*;
- $A_4 =$ *робких учениц*;
- $A_5 =$ *разыгранный Фрейшиц перстами*;
- $A_6 =$ *разыгранный перстами учениц*;
- $A_7 =$ *перстами робких учениц*;

- $A_8 =$ *разыгранный Фрейшиц перстами учениц*;
- $A_9 =$ *разыгранный перстами робких учениц*.

Словосочетания A_2 , A_6 и A_9 выбрасываются как расщепляемые вторичным их словом (*Фрейшиц*), словосочетания A_3 , A_5 и A_8 — как неправильные. Из трех оставшихся словосочетаний первым можно проверить либо A_1 , либо A_4 ; в обоих случаях первый цикл закончится выделением в СГ словосочетания A_1 , неразложимого в контексте *разыгранный Фрейшиц перстами* (по тем же соображениям, по которым в предыдущем примере было выделено в СГ словосочетание *их и припомнит*). Остаются словосочетания A_4 и A_7 , которые, как нетрудно проверить, не выбрасываются и оказываются неразложимыми в подлежащих проверке контекстах (которых для каждого из этих двух словосочетаний имеется по одному). Процедура заканчивается на втором цикле и дает следующую ССГ (с «синтаксическим разрывом»):



2. В примере (1.5) на с. 23 той же книги чертеж выполнен неумело: на нем имеются три пересечения стрелок, два из которых «лишние» — на более аккуратном чертеже они не возникают. Правильный чертеж имеет следующий вид:



* * *

Автор благодарит О. Ю. Шалимова, заметившего то, что ускользнуло от мно- гих, и Н. В. Перцова — внимательного и придирчивого редактора.

Сокращения

СГ — синтаксическая группа; ССГ — система синтаксических групп.

Литература

Гладкий 1985 — Гладкий А.В. Синтаксические структуры естественного языка в автоматизированных системах общения. — М., 1985.

Н. Н. Николаенко, О. П. Траченко,
А. Ю. Егоров, М. А. Грицьшина

N. N. Nikolaenko, O. P. Tračenko,
A. Yu. Egorov, M. A. Gricyšina

Языковая компетенция правого и левого полушарий
мозга: специализация и взаимодействие¹

The language competence of right and left
cerebral hemispheres: specialization and interaction

Памяти А. С. Штерн и Л. В. Сахарного

Классическое представление о «языке как системе знаков», организованной по законам логики, нуждается в пересмотре. Структура того «устройства», которое обеспечивает речевую деятельность человека, оказывается более сложной и гетерогенной [Сахарный 1993: 18]. Она состоит по меньшей мере из двух механизмов, устроенных по-разному и дополняющих друг друга, — механизмов левого и правого полушарий мозга. Каждый из этих механизмов имеет свои уровни, свои единицы этих уровней и свои операции с этими единицами.

¹ Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Грант № 96-04-06114.

Почти три десятилетия назад были опубликованы первые данные о языковых способностях правого полушария, полученные при исследовании пациентов с расщепленным мозгом (состояние после хирургической операции, разъединяющей полушария мозга). Оказалось, что правое полушарие может ограниченно понимать как устную, так и письменную речь: существительные, некоторые фразы, очень простые предложения [Gazzaniga 1970: 181; Sperry 1968: 712]. Дальнейшее изучение языковой компетенции правого полушария показало, что оно способно к целостному восприятию слов, словосочетаний и высказываний, к извлечению устойчивых рядов, стереотипов и фразеологических клише, к порождению просодических компонентов речи, просодической упаковке высказывания, пониманию метафор и идиом; решению силлогизмов с опорой на опыт, полученный из реального мира, а также — к различению грамматических категорий по иному принципу, чем левым полушарием [Балонов, Деглин 1976: 56; Деглин 1996: 34; Черниговская; Деглин 1986: 82; Day 1977: 527; 1979: 517; Hines 1976: 215; Mannheim 1983: 103].

Однако в целом экспериментальная и теоретическая модель языковой способности и компетенции правого полушария остается неразработанной. Неясно также, как взаимодействуют правое и левое полушария, осуществляя анализ звукового, лексического, грамматического и семантического уровня языка. В настоящей работе будут рассмотрены собственные и литературные данные о значении каждого полушария в обработке речевой информации, а также о роли межполушарного взаимодействия на разных уровнях (звуковом, лексическом, грамматическом и семантическом) анализа речевой информации. Эти факты были получены: 1) у здоровых испытуемых методом дихотического тестирования, позволяющего выявить доминантность полушарий в восприятии речи, 2) у здоровых испытуемых при регистрации времени реакции (ВР) правильного опознания слогосочетаний при моноауральном тестировании и 3) у психически больных с депрессией и шизофренией, проходивших курс лечения унилатеральными электросудорожными припадками. После унилатерального припадка отмечается преходящее угнетение функций преимущественно раздражавшегося одного полушария [Балонов и др. 1979: 15].

Звуковой уровень языка

Восприятие слов и слогов. При многократном исследовании здоровых испытуемых (130 человек) (в условиях конкурентного предъявления односложных конкретных существительных правому и левому уху) неожиданно оказалось, что только у 53 % испытуемых эффективность воспроизведения была выше на слова, предъявленные правому уху. Это говорит о доминантности левого полушария по речи. Сходным образом, более короткое ВР опознания слогосочетаний, предъявленных правому уху, выявилось у тех же 53 % испытуемых, что также свидетельствует о доминантности левого полушария в восприятии вербальной информации. Таким образом, при обработке слов и слогосочетаний лишь немногим более чем у половины испытуемых доминантным является левое полушарие.

Более того, выяснилось, что у 14 % здоровых испытуемых обработка вербальных стимулов происходит эффективнее и быстрее при подаче их на левое ухо. Иными словами, в норме имеет место доминантность правого полушария в восприятии речи. Поразительно, что эти полярные группы испытуемых практически не отличаются друг от друга по величине ВР ответов на стимулы, предъявляемые ведущему уху (правому уху в первой группе испытуемых и левому уху во второй группе). Следовательно, если доминантным по речи является правое полушарие, то оно способно осуществлять звуковой анализ на уровне доминантного по речи левого полушария. Эти данные заставляют пересмотреть традиционное положение о том, что в правом полушарии механизмы звукового анализа отсутствуют, и анализ звуков способен осуществлять только левое полушарие [Ciarello, Church 1986: 627; Gainotti et al. 1983: 208; Zaidel 1977: 10; 1983: 545; Zaidel, Peters 1981: 230]. Эти полярные группы — с ведущим левым ухом и с ведущим правым ухом — способны также воспринимать практически равное число слов, предъявляемых дихотически [Траченко 1991: 138].

Итак, специализация левого полушария по восприятию речи все не обязательное явление для здоровых испытуемых. И у левого и у правого доминантных по речи полушарий имеются одинаковые возможности в звуковом анализе и запоминании слов.

Лексический и грамматический уровни языка

Классификация слов. Классифицируя слова (представляющие собой разные типы лексических замен: *хороший ~ плохой, нехороший ~ неплохой, умный ~ глупый, неумный ~ неглупый*) здоровые испытуемые с доминантным по восприятию речи левым полушарием выделяли разные виды антонимии и синонимии, а также конструкции с наличием или отрицанием какого-либо признака. Иначе говоря, в этом случае последовательно использовался формально-грамматический принцип классификации. Ранее было показано, что преобладание классификации лексического материала именно по формально-грамматическому принципу характерно для угнетения правого полушария, когда активно левое [Деглин и др. 1985: 44].

Однако в случае доминантности по восприятию речи правого полушария формально-грамматический принцип полностью не выдерживается: классификация по принципу синонимии исчезает, и объединение слов происходит по типу создания микро-портретов (например, *плохой ~ глупый* и *неплохой ~ неглупый*). Известно, что только при угнетении левого полушария, когда активно правое полушарие, наиболее ярко проявляется стремление к созданию завершенных «портретов» (объединения слов типа *хороший ~ неплохой ~ умный ~ неглупый* или *нехороший ~ плохой ~ неумный ~ глупый*). Иначе говоря, анализ слов проводился с опорой на внеязыковую действительность [Деглин и др. 1985: 44].

Однако у здоровых испытуемых, когда взаимодействуют оба полушария мозга формально-грамматический анализ дополняется анализом по типу создания портретов. Ранее такой взаимодополняющий (комплементарный) принцип функционирования правого и левого полушарий мозга был описан Балоновым и Деглиным [1976: 190] при изучении особенностей анализа речевых сигналов и неречевых звуковых образов в условиях угнетения одного из полушарий мозга.

Классификация грамматических конструкций. Понимание активных и пассивных, прямых и инвертированных конструкций (*Ваня побил Петю, Петю побил Ваня, Петя побит Ваней, Ваней побит Петя, Петя побил Ваню, Ваню побил Петя, Ваня побит Петей, Петей побит Ваня*) требует трансформационного анализа для выявления субъекта и объекта действия.

Большинство здоровых испытуемых с доминантным по речи левым полушарием правильно и быстро осуществляли собственно языковые операции (по залогу — отдельно активы и пассивы, и по порядку слов — отдельно прямые конструкции и инвертированные). Неожиданно оказалось, что только эти испытуемые совершали ошибки при анализе самых простых грамматических конструкций — актива с прямым порядком слов. Известно, что такой тип ошибок выявлялся и у больных при угнетении правого полушария, т.е. в условиях сохранной деятельности левого полушария больные легко справлялись со сложными грамматическими конструкциями, но допускали ошибки при классификации простейших конструкций [Деглин и др. 1985: 45].

В отличие от этого, испытуемые с доминантным по речи правым полушарием правильно и быстро классифицировали простые грамматические конструкции (*Петя побил Ваню, Ваня побил Петю*), но допускали грубые ошибки при анализе сложных грамматических конструкций. Они не выдерживали языковой принцип классификации и объединяли, например, в одно множество и пассивные, и активные конструкции. При этом испытуемые ориентировались на самый простой признак — позицию имени собственного, когда объединялись фразы: *Петю побил Ваня* и *Петей побит Ваня*. Ранее показано, что такой тип ошибок характерен для состояния угнетения левого полушария, когда активно правое; т.е. больные с сохранным правым полушарием объединяют фразы, ориентируясь на первое имя в предложении [Деглин и др. 1985: 45]. Таким образом, правое и левое полушарие руководствуются разными принципами классификации фраз: правое полушарие использует порядок слов (правила актуального членения), а левое — анализ грамматических трансформаций.

Хорошо известно, что и понимание, и оперирование грамматически сложными фразами формируются под влиянием обучения. В процессе речемыслительного развития у детей первым формируется основной (базовый) эталон — субъектно-предикатная структура, представленная простым повествовательным предложением на русском языке. Эта психолингвистическая универсалия отражает «основное положение дел» в окружающей действительности: наличие субъекта (С), действия (Д), объекта (О).

При доминантном по восприятию речи правом полушарии на первый план выступает способность оперирования простыми фразами с конструкцией типа С—Д—О. Понимание такой последовательности характеризует ранние этапы развития речи у детей [Dale 1972: 98; McCarthy 1970: 1068; McNeil 1970: 46] и простейшие языковые потенции антропоидов [Bronowski, Bellugi 1980: 670].

Таким образом, наши данные показывают, что потенциальная возможность локализации речевых функций имеется не только в левом, но и в правом полушарии. Звуковой анализ в равной мере эффективно выполняется и доминантным левым, и доминантным правым полушариями. В этом смысле на наиболее низком уровне инакового анализа функции полушарий взаимозаменяемы. Однако большая частота левополушарной доминантности по речи (53%, по сравнению с 14% случаев правополушарной доминантности) может указывать на то, что в левом полушарии формируются специфические механизмы, специализирующиеся на обработке вербальной информации. Развитие более высоких уровней обработки языка (лексического, синтаксического, грамматического) связано, по-видимому, с предуготовленностью левого полушария к дискретному анализу языковых форм.

Билатеральное представительство речи. У значительного числа (33%) здоровых испытуемых отсутствовала сколько-нибудь выраженная асимметрия восприятия слов и слогов, т.е. не выявилась доминантность какого-либо полушария. Иначе говоря, в этом случае речевые функции равномерно распределены и в левом, и в правом полушариях мозга. ВР ответов испытуемых этой группы значительно больше, чем у лиц с доминантным по восприятию речи левым или правым полушарием. Это свидетельствует о том, что звуковой анализ у лиц с билатеральным представительством речи затруднен по сравнению с испытуемыми с лево- или правополушарной доминантностью в восприятии речи.

Возникает вопрос: чем отличается языковая компетенция испытуемых с билатеральной организацией речи? Анализ особенностей понимания сложных грамматических конструкций показал, что испытуемые этой группы справляются с их решением значительно эффективнее, чем испытуемые других групп. Им одинаково легко даются как простые, так и сложные грамматические конструкции.

Классификация слов ими осуществляется по чисто грамматическому принципу. Кроме того, у этих лиц число правильно запоминаемых слов достоверно выше, чем у лиц с выраженной доминантностью по речи правого или левого полушарий мозга. Это обусловлено тем, что в случае билатерального представительства речи увеличение воспринимаемой информации происходит за счет того, что каждое полушарие способно запоминать слова на уровне доминантного полушария у лиц с выраженной асимметрией [Траченко 1991: 39].

Семантический анализ: возможности правого и левого полушарий

Восприятие близких и дальних ассоциативных связей. Есть основания полагать, что помимо близких семантических связей существуют так называемые дальние семантические связи. В них связь стимула и ответа не является непосредственной, а должна быть установлена через промежуточное звено. Эти связи часто являются метафорическими. Метафора предполагает умение «увидеть» связи между предметами действительности, которые так далеко разведены в предметном мире и соединены в языковом» [Шахнарович Юрьева 1990: 143].

Недавно было показано, что у здоровых испытуемых правое полушарие лучше, чем левое, опознает дальние ассоциативные связи между словами [Rodel et al. 1992: 457]. Авторами была выдвинута гипотеза, что левое полушарие формирует ближние ассоциативные связи, а правое — дальние.

Мы попытались выяснить роль правого и левого полушарий мозга в оценке различных семантических связей в условиях преходящего угнетения полушарий после окончания унилатерального электроудорожного припадка.

Двенадцати больным предлагался набор из 24 карточек, на которых были написаны пары слов. Они принадлежали к трем группам (по 8 пар в каждой): с близкими ассоциативными связями (напр., *фрукт — яблоко*), с дальними связями (*осень — старость*) и с отсутствием связей (*комета — обувь*) (табл. 1). Вначале испытуемые должны были разложить карточки так, чтобы в одну группу вошли пары слов, имеющие между собой какую-либо связь, а в другую —

не имеющие никакой связи. Затем испытуемые должны были разложить карточки со словами, имеющими связь, на две группы: слова, имеющие близкие ассоциативные связи, и слова, имеющие дальние связи.

Таблица 1. ПАРЫ СЛОВ, ПРЕДЪЯВЛЯВШИЕСЯ ИСПЫТУЕМЫМ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Ближние ассоциативные связи	Дальние ассоциативные связи	Нет связей
<i>фрукт — яблоко</i>	<i>осень — старость</i>	<i>топор — кастрюля</i>
<i>мать — дитя</i>	<i>рождение — свет</i>	<i>комета — обувь</i>
<i>корабль — капитан</i>	<i>хлеб — жизнь</i>	<i>зонтик — зеркало</i>
<i>рюмка — водка</i>	<i>гнев — огонь</i>	<i>мост — рука</i>
<i>пиджак — брюки</i>	<i>храм — душа</i>	<i>дождь — сталь</i>
<i>царь — дворец</i>	<i>луна — любовь</i>	<i>трава — деньги</i>
<i>собака — лайка</i>	<i>сон — смерть</i>	<i>лампа — вихрь</i>
<i>пастух — поле</i>	<i>солнце — радость</i>	<i>флаг — стул</i>

В контрольных исследованиях лишь оценка пар слов, имевших дальние ассоциативные связи, вызывала затруднение: они правильно классифицировались лишь в половине случаев. В остальных случаях эти пары воспринимались либо как имеющие близкую ассоциативную связь, либо как не имеющие никакой связи.

По сравнению с угнетением левого полушария, в условиях угнетения правого намного реже определяются какие-либо связи между словами. Кроме того, в этом состоянии катастрофически падает оценка дальних ассоциативных связей. Иными словами, испытуемые чаще воспринимают слова с дальней ассоциативной связью как не имеющие никакой связи.

Напротив, в условиях угнетения левого полушария и сохранной деятельности правого полушария достоверно увеличивается число пар слов, которые классифицируются испытуемыми как имеющие близкие связи. Иначе говоря, слова с дальней ассоциативной связью воспринимаются как имеющие близкую ассоциативную связь. Кроме того, имеется тенденция к увеличению правильной оценки дальних ассоциативных связей.

Таким образом, «ассоциативное пространство» правого полушария существенно шире, чем левого. Правое полушарие тоньше оценивает дальние ассоциативные связи и часто принимает их за близкие. Иногда оно «обнаруживает» семантическую связь там, где ее нет. Наоборот, «ассоциативное пространство» левого полушария относительно меньше. Левое полушарие не выявляет связей там, где они есть. В частности, оно практически не воспринимает дальние, а способно правильно оценивать лишь близкие связи.

Итак, правое полушарие ответственно за формирование и оценку дальних ассоциативных связей. Отсюда становится понятным, почему правому полушарию свойственно метафорическое мышление [Черниговская, Деглин 1986: 80]. Очевидно, что процесс порождения и понимания метафоры строится на основе дальних ассоциативных связей. Благодаря такой способности понимать метафоры и устанавливать дальние ассоциации правое полушарие часто называлось «творческим», «художественным» [Спрингер, Дейч 1983: 234].

Ассоциативный процесс: роль правого и левого полушарий мозга

Исследование мозговой организации языкового сознания, начатое в 70-х годах Балоновым и Деглиным [1976: 160], позволило прийти к предположению о том, что к компетенции левого полушария относится «слабая» семантика, занимающаяся внутриязыковыми смысловыми трансформациями и логическими смыслами, выраженными в языке. Правое же полушарие ведаёт «сильной» семантикой — конкретными значениями слов (т.е. имен существительных), соотносимыми с предметами (денотатами).

Недавно было показано, что больные с очаговыми поражениями передних участков левого полушария мозга используют парадигматический принцип организации лексикона, тогда как больные с поражениями задних отделов — синтагматические отношения в ассоциациях [Лепская 1996: 186]. Однако до сих пор остается открытым вопрос о выборе парадигматических и синтагматических стратегий правым или левым полушарием мозга.

Мы поставили цель проанализировать особенности порождения ассоциаций в условиях преходящего угнетения преимущественно одного — правого или левого — полушарий мозга. В ассоциативном

эксперименте (в модификации, предложенной в работе [Николаева и др. 1990: 170]) использовались нейтральные и эмоциогенные стимулы /S/ с положительным (например, *радость, нежность*) или с отрицательным значением (*тоска, смерть*). Степень эмоциогенности стимулов оценивалась экспертами — здоровыми испытуемыми. Стимулы были скомпонованы в 4 выровненных списка по 14 слов каждый. Больные должны были дать ответ /R/ на стимул /S/ одним словом, как-то связанным с предъявленным.

При угнетении правого полушария ассоциативная связь отсутствует в реакциях на стимулы, за которыми стоит предмет (*асфальт, снег, воздух*). При угнетении левого полушария связь отсутствует на слова /S/ непредметной лексики (*метод, время, дело*).

Однако адекватные связи чаще отсутствуют при угнетении правого полушария, чем при угнетении левого ($p < 0,03$). Так, при угнетении правого полушария в ответ на разные стимулы больные могут повторять одни и те же слова /R/ (например, ответ /R/ *система* давался на стимулы *успех, плевки* и *метод; быстротечный* /R/ — на стимулы /S/ *успех* и *добро*). Нередко больные просто используют в качестве ответов слова-стимулы. Они упорно воспроизводят расхожие штампы, такие, как *земля* /S/ — *круглая* /R/, *время* /S/ — *пошлое* /R/, *праздник* /S/ — *революционный* /R/. Таким образом, при угнетении правого полушария мы сталкиваемся с проявлениями семантической «опустошенности». Следовательно, правое полушарие ответственно за наполненность смыслом высказывания, оно осуществляет связь слова с предметом. Эти выводы согласуются с гипотезой, высказанной в [Балонов и др. 1979: 124], о денотативной соотношенности, осуществляемой правым полушарием.

Оказалось также, что при угнетении левого полушария, когда активно правое, парадигматические ответы (синонимы и антонимы) преобладают над синтагматическими. Соотношение парадигматических и синтагматических ответов по сравнению с контролем несколько нарастает (табл. 2).

Вместе с тем парадигматические ответы отличаются друг от друга в зависимости от того, какое полушарие угнетено. Так, при угнетении левого полушария чаще встречаются такие пары, как *блюдо* /S/ — *тарелка* /R/, *балкон* /S/ — *лоджия* /R/, *успех* /S/ — *удача* /R/. Такие синонимы раскрывают отличительные признаки обознача-

емых объектов. Иначе говоря, для сохранного правого полушария типична более «тонкая» семантика (когда происходит выделение общих и отличительных признаков).

Таблица 2. ЧАСТОТА (%) ПАРАДИГМАТИЧЕСКИХ И СИНТАГМАТИЧЕСКИХ ОТВЕТОВ В АССОЦИАЦИЯХ ПРИ УГНЕТЕНИИ ПРАВОГО ИЛИ ЛЕВОГО ПОЛУШАРИЙ

	Контроль	Угнетение правого полушария	Угнетение левого полушария
Парадигматические ответы (П)	55	42	57
Синтагматические ответы (С)	45	58	43
Отношение П к С	1,2	0,7	1,3

Напротив, при угнетении правого, когда сохранены функции левого полушария, несколько чаще возникают полные синонимы: например, *обман* /S/ – *вранье* /R/, *буква* /S/ – *литера* /R/, *бабник* /S/ – *ловелас* /R/. Возможно, что для левого полушария скорее типична функция замещения со способностью равноценного переименования. Левое полушарие ответственно за стилистическое употребление синонимов, т.е. за контекст.

Неожиданно оказалось, что для угнетения правого полушария (когда активно левое) характерны синтагматические ответы ($p < 0,015$ по сравнению с контролем), причем повышению числа синтагматических ответов сопутствует снижение числа парадигматических ответов ($p < 0,04$; табл. 2). В этом состоянии возникают такие ассоциации, как *беда* /S/ – *одинокая* /R/, *обман* /S/ – *жестокий* /R/, *смех* или *голос* /S/ – *весенний* /R/, *лента* /S/ – *необязательная* /R/, *запрет* /S/ – *нехороший* /R/. Синтагматические реакции приобретают драматизированный характер: *берег* /S/ становится *крутым*, *опасным* /R/, *болезнь* /S/ – *неизлечимой* или *затянувшейся* /R/, *счастье* /S/ – *недолгим* /R/, *вражда* /S/ – *долгой* /R/. По-видимому, устойчивое употребление прилагательных обусловлено реципрокным усилением активации левого полушария.

Напротив, при угнетении левого полушария чаще, чем при угнетении правого полушария (12% против 4%; $p < 0,02$), возникают

так называемые дальние ассоциации, имеющие индивидуальный характер. Примеры дальних ассоциаций, полученные в ответ на одни и те же стимулы в разных состояниях, приведены в Таблице 3.

Таблица 3.

Депрессия (контроль)	Правое полушарие	Левое полушарие
<i>вина – беда</i>	<i>вина – истина</i>	<i>вина – обида</i>
<i>(плевок – грубость)</i>	<i>плевок – слезы</i>	<i>плевок – обида</i> <i>плевок – ненависть</i>
<i>любовь – ответная</i>	<i>любовь – свадьба</i>	<i>любовь – красота</i>
<i>(тоска – печаль)</i>	<i>тоска – беспомощность</i>	<i>тоска – старость</i>
<i>(слеза – горькая)</i>	<i>слеза – дождь</i>	<i>слеза – горе</i>

В скобках обозначены пары слов, в которых отсутствует дальняя связь.

В этих парах отношения между стимулом и ответом опираются на сходство восприятия разных предметов, что лежит в основе метафоры. Вероятно, это проявление метафорического мышления, свойственного правому полушарию. Как и результаты, полученные по оценке семантических связей, эти данные также согласуются с тем, что именно правое полушарие «понимает» метафоры [Черниговская, Деглин 1986: 82].

Итак, очевидно, что левое и правое полушария формируют разные семантические связи. Правое полушарие нацелено на отображение предметных образов. Связи двух образов (например, *слеза – дождь*) лежат в основе порождения и понимания дальних семантических связей [Егоров, Николаенко 1996: 39]. Этот процесс схематически можно представить так: Предмет – Образ – Появление связей между пространственно разнесенными образами предметов – Формирование связи Образ – Слово в языковом сознании. Таким образом, правое полушарие находит новое смысловое значение слову-стимулу на основе сходства восприятия разных явлений.

Левое полушарие иначе формирует связи, отражающие привнесение в слово-стимул новых компонентов значения. Во-первых, левое полушарие ответственно за стилистическое употребление сло-

ва, т.е. за создание контекста. Во-вторых, левое полушарие использует синтагматические отношения, позволяющие давать характеристику свойств предметов. В-третьих, на основе оценочных суждений левое полушарие создает новый (эмоциональный) контекст, связывающий слова с одинаковым эмотивным значением (например, *плевки — обида, плевки — ненависть*). Иначе говоря, левое полушарие приписывает словам эмоциональные значения (например, *предмет — шустрый, обман — жестокий*). Поэтому при угнетении левого полушария резко нарастают латентные периоды в ответ на предъявление именно эмоциогенных слов.

Таким образом, правое и левое полушария создают разные лексиконы — образно-визуальный и чисто вербальный. Эти лексиконы разрабатываются в разных направлениях: в направлении возрастающего обобщения парадигмы (правое полушарие) и в направлении левополушарного последовательного членения синтагмы (основной мысли). Первое направление, по мнению К. Леви-Стросса [1971: 619], имеет метафорический характер, оно сводит индивидуальное в парадигму. Последнее направление имеет метонимический характер (с заменой одного слова или понятия другим, имеющим причинную связь с первым). В процессе межполушарного взаимодействия различные компоненты лексикона объединяются в единое целое.

Организация лексикона при психической патологии²

Как было показано, создание разных лексиконов у здорового человека опирается на две стратегии ассоциирования: 1) ассоциирование с опорой на систему сенсорно-образного отображения человеком мира, т.е. на частоту слов с конкретной семантикой (например, *дом, мама*); 2) ассоциирование словами-концептами с опорой на частоту слов в текстах, порожденными средствами массовой коммуникации (например, *народ, дружба, среда*) [Агибалов 1995: 16].

Мы исследовали лексиконы с помощью методики ассоциативного цепного ряда (АЦР). Метод исследования АЦР предельно прост: он состоит в наговаривании испытуемыми 50–100 любых слов,

² Авторы выражают благодарность А. К. Агибалову за помощь в проведении серии исследований, описанной в данном разделе.

причем предлагалось «долго не думать, а говорить все, что приходит первым в голову». Таким образом, применялась устная форма порождения АЦР с фиксацией рядов на магнитную ленту.

Объединение полученных в результате тестирования вербальных реакций позволило сформировать частотные словники, представляющие собой модели лексиконов при депрессиях в рамках МДП (ДП-словник) и при шизофрении (ШИЗ-словник), и сравнить их с нормой (НОРМ-словник).

Анализ параметров словников по относительным величинам показал, что по сравнению со здоровыми испытуемыми лексикон при депрессии отличается укрупнением ядра (0,56 против 0,45), а лексикон при шизофрении — его вырождением (0,29). Соответственно, периферия лексикона депрессивных больных (т.е. редко встречающиеся слова) сужена (0,44), а периферия лексикона больных шизофренией расширена (0,71 по сравнению с 0,55 в контроле).

Как видно из табл. 4, при депрессивных состояниях и шизофрении мы сталкиваемся с диаметрально противоположными стратегиями построения актуальной картины мира: с одной стороны — ситуативно-образной (ДЕП-словник), с другой — концептуально-оценочной (ШИЗ-словник). По сравнению с нормой здесь происходит расщепление единой картины мира на два компонента, опирающихся на сенсорно-образное отображение мира или на тексты, порожденные средствами массовой коммуникации.

Таблица 4. Ядро лексикона в НОРМЕ, ПРИ ДЕПРЕССИИ И ПРИ ШИЗОФРЕНИИ

Ядро НОРМ-словника		Ядро ДЕП-словника		Ядро ШИЗ-словника	
Реакция	Частота	Реакция	Частота	Реакция	Частота
телевизор	6	часы	13	любовь	7
мама	5	стол	11	мир	5
обувь	5	стул	9	нежность	5
машина	5	вечер	8	счастье	5
любовь	5	книга	8	мама	4
улица	5	осциллограф	8	обмануться	4
деньги	5	цветы	7	решиться	4

Эти же выводы находят подтверждение и при сопоставлении частей речи в обследованных лексиконах (табл. 5). Так, значительное преобладание существительных в ДЕП-словнике свидетельствует об отображении в языковом сознании депрессивных больных предметной картины мира. Преобладание существительных характерно для состояния угнетения левого и сохранной деятельности правого полушария (возникающего после окончания левостороннего электросудорожного припадка) [Балонов и др. 1979: 130].

Таблица 5. Доля разных частей речи в лексиконе больных депрессией и шизофренией

Часть речи	ДЕП-словник		ШИЗ-словник	
	кол-во реакций	доля (%)	кол-во реакций	доля (%)
существительное	735	94,47	308	64,84
текст (фразы)	11	1,41	57	12,01
словосочетание	19	2,44	17	3,58
глагол	0	0	46	9,68
прилагательное	8	1,03	27	5,68
наречие	1	0,13	3	0,68
местоимение	0	0	5	1,05
имя собственное	4	0,51	12	2,53
всего:	778	100	475	100

Напротив, в ШИЗ-словнике резко снижается число существительных и явно превалируют грамматически оформленные фразы, словосочетания; глаголы, призванные отобразить какие-то действия субъекта; прилагательные, отражающие оценочные суждения. Преобладание таких частей речи типично для состояния угнетения правого и сохранной деятельности или даже реципрокной активации левого полушария (возникающего после окончания правостороннего электросудорожного припадка) [Балонов и др. 1979: 131].

Более детальный лексико-семантический анализ показывает, что при депрессии ядро лексикона отличается жесткой структурированностью и является предметной составляющей образа мира. Есть основания предполагать, что такая структура лексикона связана

относительным доминированием правого полушария. Преобладание активации правого полушария над левым при депрессии было обнаружено ранее [Асадова 1985: 445; Егоров 1986: 666; Davidson 1991: 140; Egorov, Nikolaenko 1992: 405; Flor-Henry 1983: 205]. Наоборот, при шизофрении отмечается размытость ядра лексикона и его ориентация на концептуально-оценочную сторону мира. Такая структура лексикона скорее всего связана с относительным доминированием левого полушария. Преобладание активации левого полушария над правым при шизофрении описывалось ранее [Flor-Henry 1983: 236; Gur 1978: 238].

Взаимодействие полушарий мозга в процессе восприятия и порождения речи

Восприятие слов. Исследования здоровых испытуемых привели к выводу о том, что восприятие слов определяется соотношением множества факторов, определяющих преимущественное участие каждого полушария в обработке слов [Траченко 1986: 136]. К ним относятся: осмысленность — бессмысленность, конкретность — абстрактность, знаменательность — служебность, производность — производность, раннее — позднее появление в языке. Первые члены этих оппозиций предполагают преимущественное участие в опознании слов правого полушария, вторые — левого.

Так, например, ведущая роль правого полушария выявляется для конкретных существительных, т.е. слов, именующих конкретные предметы (денотаты) и явления внеязыковой действительности. Таким образом, факторы конкретности и образности могут определить преимущественное участие правого полушария в восприятии этих слов [Траченко 1986: 138].

Ведущая роль левого полушария выявилась при предъявлении глаголов жаргонного типа, представлявших собой вульгарные синонимы нормативной лексики типа *тяпнуть*, *клюкнуть* (в смысле 'выпить'), *капнуть*, *стукнуть* (в смысле 'донести'). Несомненно, они являются более поздним приобретением как в языке, так и в индивидуальном лексиконе. Таким образом, анализ таких глаголов свидетельствует о том, что более позднее появление в процессе онтогенетического развития является фактором, обуславливающим большее участие левого полушария в опознании слов.

Наконец, ведущая роль левого полушария показана при опознании относительных прилагательных (в отличие от качественных, они характеризуются вторичностью происхождения — являются производными от соответствующих существительных, например, *каменный, стальной*). Эта подгруппа по сравнению с другими прилагательными представляет более поздний пласт лексики и отличается редкой встречаемостью в языке [Частотный словарь 1977]. Приведенные данные убеждают в том, что восприятие слов определяется активностью обоих полушарий, а также комплементарным типом межполушарного взаимодействия.

Особенности лексики правого и левого полушарий. В условиях угнетения правого или левого полушарий обнаружилось разные системы цветообозначения [Николаенко 1985: 65]. Так, в условиях угнетения левого полушария сохранное правое полушарие обеспечивает словесное обозначение основных цветов с помощью простых названий (типа *красный, желтый*). Эти названия имеют наибольшую частотность употребления в языке (табл. 6).

Таблица 6. ЧАСТОТА (на 1 млн. словоупотреблений) ВСТРЕЧАЕМОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ (по данным Частотного словаря [1977])

«Правополушарные» цветообозначения	«Левополушарные» цветообозначения
<i>Красный</i> — 371	<i>Терракотовый</i> — 2
<i>Зеленый</i> — 216	<i>Бирюзовый</i> — 2
<i>Синий</i> — 180	<i>Огуречный</i> — 1
<i>Голубой</i> — 137	<i>Сиреневый</i> — 3
<i>Желтый</i> — 109	<i>Палевый</i> — 0

Напротив, «словарь» левого полушария состоит преимущественно из относительно редких в языке слов (*палевый, терракотовый*). (Сравните цветовые словари правого и левого полушарий в табл. 6.) Кроме того, в «лексиконе» левого полушария господствуют специальные (*шаровый, хаки*) и предметно соотнесенные (*бирюзовый, цвет белой сливы, цвет морской волны*) названия. Эти данные указывают на то, что «правополушарная» система простых, часто употребляемых имен цветов и «левополушарная» система редких, специальных, профессиональных, заимствованных из других язы-

ков цветообозначений находятся в реципрокных конкурентных отношениях: угнетение одной системы приводит к усилению другой, и наоборот.

Предметная соотнесенность в речемыслительной деятельности правого и левого полушарий мозга. Не только в «левополушарном», но и в «правополушарном» лексиконе, хотя и редко, но появляются предметно-соотнесенные названия. Особенность их состоит в том, что они точно соответствуют цвету (например, для названия оттенков зеленого цвета адекватно применяются такие названия, как *цвет травы, салатный, лимонный*). Иными словами, подобная предметная соотнесенность в назывании цвета правым полушарием имеет конкретно-чувственный характер.

Напротив, «левополушарные» предметно соотнесенные названия весьма условно связаны с предъявленным цветом. Так, зелено-желтый цвет называется *лунным*, синий — *прибрежным*, а бледно-желтый — *волнистым*. Такие названия отличаются абстрактной неопределенностью и по существу мало связаны с физической характеристикой цвета.

В связи с этим мы проверили, как классифицируются цвета по соотнесенности их с предметом. Оказалось, что в условиях преобладания активности левого полушария при задании отобрать цвета апельсина больные выбирали в основном желтые цвета, реже — оранжевые цвета (и даже — красные), а при задании отобрать цвета травы — не только зеленые, но и в равной мере желто-зеленые, синие и даже синие цвета (*цвета морской травы*, по объяснению больной). Иными словами, здесь происходит расширение круга ассоциаций, причем связи цвета с предметом теряют жесткость.

Напротив, в условиях преобладания активности правого полушария при задании отобрать цвета апельсина больные дают только оранжевые цвета, а при задании отобрать цвета травы — зеленые и довольно редко желто-зеленые цвета. Эти данные позволяют предположить, что правое полушарие осуществляет выбор наименования цвета из ядра ассоциативного поля с учетом наиболее вероятных «жестких» связей цвет—предмет—наименование и с опорой на денотат (предмет). Представляется, что именно с помощью «правополушарного» словаря в языке наиболее точно передаются цветные образы.

Таким образом, правое и левое полушария мозга, освобожденные от взаимотормозящих влияний, формируют различные предметные соотношения в речевом развитии. Правое полушарие, учащая в раннем детстве систему (ядро) простых наименований, создает жесткие связи между цветом, его наименованием и предметом. Левое полушарие «отключает сцепление» с предметами внешнего мира и, работая на холостом ходу, проявляет стремление к словотворчеству в области новых наименований и классификационных категорий. Освободившись от сковывающего контроля предметной соотношенности, левое полушарие вырабатывает язык различий. Затем эти различия, уже как факт языкового кода, передаются в правое полушарие, и тогда «нормальное» сознание начинает «различать» те оттенки цветовой гаммы, которые прежде были неразличимы [Лотман 1983: 18].

Соотношение речевых и зрительно-пространственных функций. Примечательно, что исследование процесса формирования чтения и зрительно-пространственных функций (в частности рисования) позволило выявить, что развитие чтения зависит от развития изобразительной деятельности и зрительной памяти [Ахутина и др. 1993: 25]. Имеются даже примеры предсказания развития одних психических функций на основе тестирования состояния других. К значимому критерию, предсказывающему затруднения в чтении, относят ошибочное опознание зрительных образов и ошибки в право-левосторонней ориентации [Gramontani Nooreg 1988: 251]. Таким образом, дефицит зрительных и пространственных функций правого полушария мешает развитию казалось бы чисто левополушарной функции чтения. Вероятно, на ранних этапах созревания индивидуума правое полушарие обладает базисными функциями в едином комплексе (рисунок — рисунок чата, письмо — чтение); по мере его развития происходит размежевание функций с передачей речевых функций в левое полушарие. Зарождение речи в правом полушарии В. Л. Деглин и Л. Я. Балонев описывают как « (...) путь от конкретного образа предметной ситуации к обобщению и теоретическому постижению объективного мира — путь к высотам абстракции. Такое движение мысли, естественно, только и может совершаться параллельно с языковым упорядочиванием высказывания, параллельно с построением развитой и расчлененной синтаксической структуры» [Деглин и др. 1983: 60].

В свою очередь развитие функций левого полушария — в ходе преимущественно вербального образования — приводит к подавлению остаточных речевых и даже зрительно-пространственных функций правого полушария (в частности, к вытеснению рисунка как графической деятельности, подавлению развития изобразительных способностей, в результате чего рисунки взрослых остаются по сути своей «детскими»).

Вместе с тем, в норме правое полушарие может снижать речевую активность левого полушария [Балонев, Деглин 1976: 38]. Утрата тормозных влияний правого полушария с «высвобождением» и патологическим усилением активности левого полушария может привести к тяжелой клинической патологии — речевой бессвязности при шизофрении или к речевой расторможенности при маниакальном возбуждении.

Итак, и левое, и правое полушария обладают способностью к различной речемыслительной деятельности. Левое и правое полушария по-разному решают лексические задачи, формируют различные ассоциативные поля и лексиконы. При этом правое полушарие формирует в языковом сознании образно-визуальную модель мира, а левое — вербально-концептуальную. В норме происходит взаимодействие и обогащение одной картины мира другой, что способствует полноценному развитию языкового сознания. Однако при психической патологии преобладание активности одного полушария или другим приводит к смещению в сторону либо образно-визуального модуса отображения, либо в сторону концептуального отображения предметного мира.

Литература

- Агибалов 1995 — Агибалов А.К. Вероятностная организация внутреннего лексикона человека. — АКД. — СПб., 1995.
- Асадова 1985 — Асадова М.С. Межполушарные отношения при стойких изменениях эмоционального состояния // Физиология человека. — Т. 11. № 3. — М., 1985.
- Ахутина и др. 1993 — Ахутина Т.В., Максименко М.Ю., Полонская Н.Н., Пылаева И.М., Калинин С.В., Яблокова Л.В. Нейропсихологическая диагностика развития процессов обработки зрительной информации. Методическое руко-

- водство для школьных психологов, дефектологов и педагогов классов компенсирующего обучения. — М., 1993.
- Балонов и др. 1979 — Балонов Л.Я., Баркан Д.В., Деглин В.Л., Кауфман Д.А., Николаенко Н.Н., Траченко О.П. Унилатеральный электросудорожный припадок. — Л., 1979.
- Балонов, Деглин 1976 — Балонов Л.Я., Деглин В.Л. Слух и речь доминантного и недоминантного полушария. — Л., 1976.
- Деглин 1996 — Деглин В.Л. Парадоксальные стороны человеческого мышления. Нейропсихологический анализ. — СПб., 1996.
- Деглин и др. 1983 — Деглин В.Л., Балонов Л.Я., Долинина И.Б. Язык и функциональная асимметрия мозга // Текст и культура. Труды по знаковым системам. Ученые записки ТГУ. — Т. 16. Вып. 635. — Тарту, 1983.
- Деглин и др. 1985 — Деглин В.Л., Черниговская Т.В., Меншуткин В.В. Анализ лексического и грамматического материала в условиях преходящей инактивации левого и правого полушарий мозга // Физиология человека. — Т. 11. — М., 1985.
- Егоров 1986 — Егоров А.Ю. Зрительные последовательные образы как показатель функциональной межполушарной асимметрии // Физиология человека. — Т. 12. № 4. — М., 1986.
- Егоров, Николаенко 1996 — Егоров А.Ю., Николаенко Н.Н. Оценка ближних и дальних ассоциативных связей и функциональная асимметрия мозга // ДАН. Т. 349. № 6. Л., 1996.
- Лепская 1996 — Лепская Н.И. Синтагматические и парадигматические отношения и особенности их проявления в речи афатиков // Материалы Международного конгресса «100 лет Р. О. Якобсону». — М., 1996.
- Лотман 1983 — Лотман Ю.М. Асимметрия и диалог // Текст и культура. Труды по знаковым системам. Ученые записки ТГУ. — Вып. 635. — Тарту, 1983.
- Николаева и др. 1990 — Николаева Е.И., Сафонова А.М., Купчик В.И. Язык и структура знания. — М., 1990.
- Николаенко 1985 — Николаенко Н.Н. Взаимодействие полушарий мозга в процессе восприятия и обозначения цвета // Сенсорные системы. — Л., 1985.
- Сахарный 1993 — Сахарный Л.В. Смысловая обработка текста: две стратегии — две грамматики // Вестник Санкт-Петербургского университета. — 1993. — Серия 2. Вып. 4 (23).
- Спрингер, Дейч 1983 — Спрингер С., Дейч Г. Левый мозг, правый мозг. Асимметрия мозга. — М., 1983.
- Шахнарович, Юрьева 1990 — Шахнарович А.М., Юрьева Н.М. Психолингвистический анализ семантики и грамматики. — М., 1990.
- Траченко 1986 — Траченко О.П. О факторах, определяющих латерализацию слов // Нейропсихологический анализ межполушарной асимметрии мозга. М., 1986.
- Траченко 1991 — Траченко О.П. Многократное дихотическое тестирование лиц с ведущим левым ухом // Физиология человека. — Т. 17. — М., 1991.

- Частотный словарь 1977 — Частотный словарь русского языка. Под ред. Л. Н. Заориной. — М., 1977.
- Черниговская, Деглин 1986 — Черниговская Т.В., Деглин В.Л. Метафорическое и силлогическое мышление как проявление функциональной асимметрии мозга // Семиотика пространства и пространство семиотики. Труды по знаковым системам. Ученые записки ТГУ. — Т. 19. — Тарту, 1986.
- Bronowski, Bellugi 1980 — Bronowski J., Bellugi U. Language, name and concept // Science. — 1980. — V. 1968.
- Chiarello, Church 1986 — Chiarello C., Church K.L. Lexical judgements after right or left hemisphere injury // Neuropsychologia. — 1986. — V. 24.
- Dale 1972 — Dale Ph.S. Language development. Structure and function. — Illinois, 1972.
- Davidson 1991 — Davidson R.J. Cerebral asymmetry and affective disorders: a developmental perspective // Cicchetti D., Toth. S.L. (ed.). Internalizing and externalizing expressions of dysfunction. Rochester Symposium on Developmental Psychopathology. — V. 2. V. 312. — Hillsdale, NJ, 1991.
- Day 1977 — Day J. Right hemisphere language processing in normal righthanders // Journal of Experimental Psychology: Human perception and performance. — 1977. — V. 3.
- Day 1979 — Day J. Visual halffield word recognition as a function of syntactic class and imageability // Neuropsychologia. — 1979. — V. 17.
- Egorov, Nikolaenko 1992 — Egorov A.Yu., Nikolaenko N.N. Functional brain asymmetry and visuospatial perception in mania, depression and under psychotropic medication // Biological Psychiatry. — 1992. — V. 32.
- Flor-Henry 1983 — Flor-Henry P. Cerebral basis of psychopathology. — Boston—Bristol—London, 1983.
- Gainotti et al. 1983 — Gainotti G., Caltagirone C., Miceli G. Selective impairment of semantic-lexical discrimination in right-brain-damaged patients // Cognitive Processing in the Right Hemisphere. — NY, 1983.
- Gazzaniga 1970 — Gazzaniga M.S. The bisected brain. — NY, 1970.
- Gur 1978 — Gur R.E. Left hemisphere dysfunction and left hemisphere overactivation in schizophrenia // J. Anorm. Psychologia. — 1978. — V. 87.
- Hines 1976 — Hines D. Recognition of verbs, abstract nouns and concrete nouns from the left and right visual half-fields // Neuropsychologia. — 1976. — V. 14.
- Levi-Strauss 1971 — Levi-Strauss C. Mythologiques. Vol. IV. L'Homme nu. Paris, 1971.
- Mannhaupt 1983 — Mannhaupt H. Processing of abstract and concrete nouns in lateralized memory-search task // Psychological Research. — 1983. — V. 45.
- McCarthy 1970 — McCarthy D. Language development in children // Manual of child psychology. — NY, 1970.
- McNeil 1970 — McNeil D. The acquisition of language // The study of development psycholinguistics. — NY, 1970.
- Rodel et al. 1992 — Rodel M., Cook N.D., Regard M., Landis T. Hemispheric dissociation in judging semantic relations: complementarity for close and distant associates // Brain and Language. — 1992. — V. 43.

- Sperry 1968 — Sperry R.W. Hemispheric disconnection and unity of conscious awareness // American Psychologist. — 1968. — V. 23.
- Tramontana, Hooper 1988 — Tramontana M.G., Hooper S.P. Assessment issues in child neuropsychology. — NY, 1988.
- Zaidel 1983 — Zaidel E. A response to Gazzaniga: Language in the right hemisphere: convergent perspectives // American Psychologist. — 1983. — V. 38.
- Zaidel, Peters 1981 — Zaidel E., Peters A.M. Phonological encoding and ideographic reading by the disconnected right hemisphere: two case studies // Brain and Language. — 1981. — V.14.
- Zaidel 1977 — Zaidel E. Unilateral auditory language comprehension on the token test following cerebral commissurotomy and hemispherectomy // Neuropsychologia. — 1977. — V. 15.

Н. В. Перцов

N. V. Pertsov

О двух способах описания
русской видо-временной системы (к проблеме
неединственности грамматических решений)

On two ways of description of the Russian
aspect-tense system (towards the problem of
non-uniqueness of grammatical solutions)

В выражении грамматического времени в сфере русских личных глагольных форм можно усмотреть противоречие: одни и те же морфологические средства передают смысл того, что называется «настоящим временем», и смысл того, что называется «будущим временем»: *игра-ет* ~ *сыгра-ет*, *кур-ит* ~ *докур-ит* и т.д. В традиционном описании, поддерживаемом Академическими грамматиками, соответствующие формы различаются по двум категориям: времени (настоящее vs. будущее) и виду (несовершенный vs. совершенный). Если взять для определенности конкретную видовую пару, например, *ударять* ~ *ударить* (вопрос о статусе видового противопоставления и о вхождении соответствующих форм в одну лексему или в разные в рамках настоящего сообщения может быть оставлен без решения), то распределение личных глагольных форм в конст-

рукции «Гром ...» (где на место многоточия подставляется глагольная форма) можно представить в виде следующей таблицы:

Таблица 1.

	Несовершенный вид	Совершенный вид
Настоящее время	<i>ударяет</i>	—
Прошедшее время	<i>ударял</i>	<i>ударил</i>
Будущее время	<i>будет ударять</i>	<i>ударит</i>

В таблице несоединимость настоящего времени и совершенного вида отражена знаком минус (—) в соответствующей клетке.

Данное описание можно назвать «классическим» — в силу его общей распространенности.

Однако возможен и другой взгляд на систему русских глагольных времен. Ниже излагается и критически рассматривается «неклассический» способ описания русского глагольного времени, предложенный А. Е. Кибриком в частной беседе с автором этих строк.

Количество граммем времени остается прежним, но изменяется интерпретация непрошедших времен, и в соответствии с этой интерпретацией настоящее время более уместно назвать по-другому — «нейтральное». Таблица распределения глагольных форм при неклассическом подходе выглядит следующим образом:

Таблица 2.

	Несовершенный вид	Совершенный вид
Нейтральное время	<i>ударяет</i>	<i>ударит</i>
Прошедшее время	<i>ударял</i>	<i>ударил</i>
Будущее время	<i>будет ударять</i>	—

Минус перемещается при таком взгляде на глагольное время из одной клетки в другую; в данном случае он отражает несоединимость будущего времени и совершенного вида, а будущее время получает только аналитическое выражение. В интерпретации прошедшего времени неклассический и классический подходы совпадают.

При неклассическом подходе нейтральное время противопоставлено двум другим. В литературе уже отмечалось (см., например, [Бондарко 1971]), что формы настоящего несовершенного в целом ряде употреблений носят по существу «вневременной» характер, не ориентируя соответствующую ситуацию относительно какой-либо конкретной точки отсчета (как это прототипически присуще прошедшему и будущему времени), а обозначая нечто постоянное, обычное, свойственное действительности вообще или каким-либо частным ее феноменам в силу «природы вещей». Речь идет не только о гномических употреблениях типа *Вода кипит при ста градусах*. В этот же круг включаются разного рода «общие истины», касающиеся природы и человека или их отдельных проявлений; поэтому общереферентные высказывания, скажем, по поводу погоды в какой-либо местности, свойств людей определенного склада или даже обычного свойства или привычки отдельного человека тоже могут быть интерпретированы указанным образом, т.е. как имеющие вневременной характер.

Возникает вопрос: нельзя ли свойство таких употреблений «классического» настоящего несовершенного каким-либо образом обобщить? Для этого следует внимательно рассмотреть внутренние свойства других времен — прошедшего и аналитического будущего.

Формы прошедшего — *ударял / ударил* — и аналитического будущего — *будет ударять* — прототипически ориентированы относительно некоторой точки отсчета; первые выражают предшествование обозначаемой ситуации этой точке отсчета, вторые — следование обозначаемой ситуации за точкой отсчета. Можно показать, что и в случае несобственных употреблений этих временных форм указанное инвариантное содержание тем или иным образом проявляется (автор предпринял попытку демонстрации этого в работе [Перцов 1998]). Ограничимся двумя примерами. Если взять употребление прошедшего времени в контекстах типа *Все, я ушел!*, где прош. время относится к событию непосредственно следующего бу-

дущего, то для них мы усматриваем некоторую возникающую в сознании говорящего точку отсчета, относящуюся к этому будущему, а обозначаемая глаголом ситуация ухода подается как предшествующая этой точке отсчета (или — если это покажется более убедительным — будущая ситуация может мыслиться как уже имевшая место к моменту речи и предшествующая, тем самым, этому последнему). В случае употреблений будущего аналитического, выражающих возмущение говорящего имеющей или имевшей место ситуацией, — типа *Всякая мелюзга будет здесь командовать!* — можно видеть «проекцию» этой ситуации в будущее, т.е. ее следование за моментом речи (являющимся в данном случае точкой отсчета).

В этом отношении упомянутые вневременные употребления классического настоящего несовершенного предстают как лишенные точки отсчета вообще. Точка отсчета, однако, может возникнуть при употреблении настоящего несовершенного для обозначения текущих ситуаций: *Смотри, к нам идет Костя!* Здесь уже вряд ли уместно говорить об отсутствии точки отсчета — в качестве таковой вполне естественно принять момент речи. Столь же естественно для настоящего исторического (*Оглянулся я и вижу: из кустов на меня смотрит какая-то рожка*) считать точкой отсчета подразумеваемый момент в прошлом, синхронный разворачивающейся ситуации. Относительно употреблений классического настоящего несовершенного можно лишь сказать, что обозначаемая глаголом ситуация не предшествует никакой точке отсчета. А такое может быть либо тогда, когда точки отсчета нет вообще (вневременные употребления), либо тогда, когда точка отсчета есть, но нет предшествования. Если с этим согласиться, то инвариант настоящего несовершенного можно сформулировать кратко — «не-предшествование».

Оказывается, что этому инварианту удовлетворяют формы настоящего совершенного, прототипически выражающие следование и, таким образом, предполагающие некоторую точку отсчета (каковой прототипически является момент речи, но все же не всегда). Можно считать, что точка отсчета в случаях настоящего совершенного «наводится» совершенным видом, который по своей внутренней природе предполагает наличие двух последовательных ситуаций [Падучева 1996; Кошелев 1996; Шатуновский 1996]; вторая из них как раз интерпретируется как точка отсчета.

Здесь может возникнуть вопрос: как можно объяснить при неклассическом подходе то обстоятельство, что нейтральное совершенное, предполагающее две ситуации, интерпретируется именно как непредшествование одной ситуации другой, а не как предшествование? Ответ, думается, нужно искать в том, что ситуация предшествования в системе уже прочно занята прошедшим временем.

Если семантика форм настоящего несовершенного и настоящего совершенного «укладываются» в некое единое инвариантное содержание, противопоставленное всем другим временам, появляется возможность слияния этих двух классов форм в единое время, которое — в силу допустимости отсутствия у него в некоторых употреблениях точки отсчета — может быть названо нейтральным.

Со стороны плана содержания имеются, таким образом, факторы, благоприятствующие (во всяком случае, явно не противоречащие) принятию неклассического подхода к времени. Однако наиболее отчетливо проявляются достоинства данного подхода с точки зрения плана выражения. В самом деле, одна граммема (нейтральное время) объединяет формы (*ударяет ~ ударит, делает ~ сделает*), морфологически близкие друг другу или тождественные в их флективной части, во всяком случае — более близкие, чем формы, объединяемые одной граммемой будущего времени при классическом подходе — *будет ударять ~ ударит*.

Отрицательно формулируемое инвариантное содержание нейтрального времени — «не-предшествование» [«отсутствие предшествование какой-либо точке отсчета»] — в большей степени отвечает немаркированности нейтрального времени, чем возможный инвариант тоже немаркированного настоящего при классическом подходе. В самом деле, этот последний инвариант, по-видимому, должен иметь вид положительной формулировки — «синхронность ситуации текущему моменту». В работе [Перцов 1998] для формулировки инварианта наст. времени введено особое понятие — гомохронность, — охватывающее либо случаи непосредственной реализации факта в текущий момент, либо случаи реализации факта до него и наличия в текущий момент условий для последующей реализации факта. Отметим, что при обоих подходах — классическом и неклассическом — немаркированность соответствующего времени иконически отражается в нулевых формах глагола *быть*.

Рассмотрим в свете данного инварианта классического настоящего времени вневременные употребления глагольных форм: (1) *Вода кипит при ста градусах*; (2) *Волга впадает в Каспийское море*; (3) *Лошади едят овес*; (4) *Пожилые люди легко простужаются*; (5) *В этой местности часто случаются наводнения*; (6) *Этот поэт предпочитает октаву* и т.п. Заметим, что уже в приведенных примерах вневременной характер высказываний не одинаков: фразы (1)–(4) выражают самые общие истины (впрочем, степень универсальности истин в первых двух фразах представляется наибольшей), а фразы (5) и (6) больше привязаны к текущему моменту слышимого или читаемого высказывания. Если мы привлечем к рассмотрению другие высказывания родственного характера — (7) *Мой приятель часто ездит в Швецию*; (8) *Игорь участвует в супертурнирах*; (9) *Вера плавает по пятницам в бассейне* и под., — мы обнаружим, что резкой грани между очевидно вневременным характером высказывания и возможностью каким-либо образом ассоциировать высказывание с текущим моментом нет. Языковая интуиция автора позволяет осуществить такую ассоциацию во всех случаях вневременного употребления глагольных форм — при условии, что содержание, претендующее быть инвариантом для настоящего времени при классическом подходе, т.е. понятие синхронности обозначаемой глаголом ситуации S и текущего момента M, будет интерпретироваться более широко, нежели как простое вложение текущего момента в S или пересечение во времени текущего периода и S. Помимо указанных случаев вложения и пересечения (очевидно, что их можно свести к пересечению), в понятие синхронности можно включить и понятие релевантности обозначаемой глаголом ситуации для текущего момента. Поясним это понятие.

Даже в случае сообщения универсальной истины, даже непреложного закона природы, содержание соответствующего высказывания касается и текущего момента самого акта высказывания. Поскольку язык антропоцентричен, прототипически говорящего прежде всего интересует положение дел именно в текущий момент. И хотя универсальная истина касается не только текущего момента, но вообще всякого момента времени, ее релевантность именно для текущего момента в наибольшей степени важна для участников ре-

чевого акта. Нередко универсальная истина и высказывается в связи с какими-либо обстоятельствами, относящимися к текущему существованию участников речевого акта или современными этому существованию.

Когда речь идет о повторяющейся, но не имеющей места в текущий момент ситуации (например, о плавании Веры в бассейне по пятницам — см. пример (9)), последняя релевантна и для текущего момента, поскольку при произнесении соответствующих высказываний предполагается, что данная ситуация имела места до текущего момента и что имеются в наличии условия для ее реализации после него (ср. аналогичные требования для реализации «актуального значения целенаправленного глагола» в [Кошелев 1996: 173]).

Итак, расширяя понятие 'синхронности' за счет понятия релевантности ситуации для текущего момента, мы, как представляется, получаем возможность охватить в рамках единого «объемного» понятия и ситуации, совершающиеся в текущий момент, и обычные, повторяющиеся ситуации, и общие истины. А тем самым снимается узковязимость инварианта синхронности, который может быть присвоен настоящему времени при классическом подходе.

Поэтому при всех указанных выше достоинствах неклассического подхода, видимо, не следует торопиться с заменой им традиционного взгляда на русское глагольное время. С чисто интуитивной точки зрения, разъединение форм, выражающих следование (*ударит ~ будет ударять*), присваивание им разных граммем времени, выглядит все же очень непривычно, пожалуй, даже неприятно — во всяком случае, для автора этих строк. Нужны какие-либо другие, психолингвистические, внеположные языковым данным и языковой интроспекции, аргументы в пользу или против того или другого подхода.

Резюмируем. Достоинством классического подхода является объединение (в определенной граммеме) семантически родственных форм (*ударит ~ будет ударять*), а его недостатком — разъединение формально родственных форм (*ударяет ~ ударит*). Достоинством неклассического подхода является объединение формально родственных форм, а его недостатком — разъединение семантически родственных форм.

Думается, в случае глагольного времени в русском языке мы сталкиваемся с областью «сгущения сложности» (выражение А. А. Зализняка) — наряду с такими явлениями, как расхождение типа согласования в конструкции «числительное + существительное» в позициях именительного / винительного падежа с одной стороны и прочих падежей — с другой [*построил два дома ~ обзавелся двумя домами*]; или вопрос о числе существительных *pluralia tantum* (множественное число во всех случаях или омонимия чисел в случаях типа *приехали одни сани ~ вокруг стояли сани*); или вопрос о лексическом или суффиксальном статусе элемента *-ка* [Перцов 1996]. Пока следует признать, что в подобных областях любой из альтернативных способов описания будет сопряжен с некоторыми изъянами. Нужны внеположные лингвистике новые свидетельства.

Наконец, следует помнить и о принципе «неединственности» лингвистического описания, провозглашенного более четверти века назад И. А. Мельчуком [1971] применительно к морфологии. Почему мы должны непременно делать жесткий выбор — раз и навсегда — между альтернативными описаниями? Возможно, для одних целей уместно обращение к классическому подходу (думается, он более естествен для целей обучения), а для других — к неклассическому. Если иметь в виду цель демонстрации плодотворности понятия инварианта грамматического значения для лингвистической теории и ее практических аспектов (а именно из попытки выполнения этой цели возникло настоящее сообщение), думается, в этом аспекте ни один из подходов не имеет преимуществ по отношению к другому.

Литература

- Бондарко 1971 — Бондарко А.В. Вид и время русского глагола. — М., 1971.
 Кошелев 1996 — Кошелев А.Д. Референциальный подход к анализу языковых значений // Московский лингвистический альманах. — Выпуск 1 (Спорное в лингвистике). — М., 1996.
 Мельчук 1971 — Мельчук И.А. К проблеме выбора описания при неединственности морфологических решений // Фонетика. Фонология. Грамматика (к семидесятилетию А. А. Реформатского). — М., 1971.
 Падучева 1996 — Падучева Е.В. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке; Семантика нарратива). — М., 1996.

- Перцов 1996 — Перцов Н.В. Элемент *-ка* в русском языке: словоформа или аффикс? // Русистика. Славистика. Индоевропеистика (К 60-летию А. А. Зализняка). — М., 1996.
 Перцов 1998 — Перцов Н.В. К проблеме инварианта грамматического значения. I. Глагольное время в русском языке // Вопросы языкознания. — 1998. — № 1.
 Шатуновский 1996 — Шатуновский И.Б. Семантика предложения и неререферентные слова (значение, коммуникативная перспектива, прагматика). — М., 1996.

—◆—
M. S. Polinsky

М. С. Полинская

American Russian: A New Pidgin

Американский русский: новый пиджин

This paper examines structural consequences of language attrition and the correspondences between language-particular and cross-linguistic phenomena under attrition. It also demonstrates the correlation between lexical attrition and attrition in morphosyntax. Based on the correspondence between language attrition in lexicon and grammar, the paper proposes a vocabulary-based method of measuring language attrition. The crucial data introduced here come from instances of lexical, morphological, and syntactic attrition as they occur in one particular language, American Russian. American Russian is compared to the full version of Modern Russian and then to pidgins and creoles. The parallels that are established between extended pidgins and American Russian, a language undergoing attrition, suggest that reduced communication is systematically reflected in the linguistic structure.

The paper has the following structure: in the introduction, two types of language disappearance are discussed; basic terms are clarified, and elicitation techniques used in this study are described. Section I introduces the method of estimating language proficiency and describes the speakers selected by this method. Section II presents structural

characteristics of attrition in morphology, syntax, and discourse. Section III demonstrates the correlation between lexical and morphological/syntactic attrition, concluding that the proposed method of measuring lexical proficiency can reveal a general level of language competence. Section IV compares the structural characteristics of language loss and pidginization and proposes an explanation for the observed parallels. The major findings of the paper are summarized in the conclusion.

Introduction

1. Defining endangered languages. Endangered languages are usually thought of as those with small communities of speakers who have been exposed to a catastrophic environment, a competing community that is more aggressive culturally or economically, or to political pressure. All this is true, but there can be other cases when the language becomes endangered: a part of a large and healthy speech community can move to a different environment, where their language is no longer the one of economic, social, political, or cultural prestige and where another language is dominant. In this new setting, the community loses regular contact with the original speech community and adopts, fully or partially, the dominant language. Accordingly, the notions of healthy and ailing languages are only relative: one language can be dominant under one set of circumstances and endangered under other circumstances.

The difference between the clear case of complete disappearance and the disappearance of a language that remains spoken elsewhere is probably most relevant for linguists. If a language is spoken in just one environment and is gradually disappearing in that environment, it certainly requires a salvage study. In this salvage study, however, a linguist should bear in mind that the language may already have features that characterize it as dying. In particular, the remaining speakers of the language may have been exposed to another, dominant language for some time, and their language has changed because of the interference; at a yet later stage when only a single speaker remains, there is no longer a speech community to test that speaker's intuitions. Thus, unless a healthy version of a dying language exists elsewhere, the language that is studied cannot be compared to a full system. As a consequence, it may be impossible to decide if some features in this language pertain to its

«original» linguistic structure or result from the reduction in the use of that language. This possible diversion should be borne in mind under a salvage study; however, there is no way to resolve this problem.

If, on the other hand, a language is spoken in several separate environments, the linguistic description can benefit from comparing the different variants. A comparison between the variants of the same language, one used as a dominant language, and another used as secondary to a different dominant language, is particularly interesting because it allows one to distinguish those linguistic features that arise under limited communication and are, therefore, characteristic of language disappearance.

If such a comparison is possible, it can give promising results in a dynamic study: the disappearing variant of a language is compared to the stable variant of the same language. This is what is done in this paper, which compares Russian as spoken by semi-speakers in the US to the full Russian language.

2. Basic terms and notions. Throughout the paper, the following terms are used. The term *attrition* is used as the most general term denoting incomplete language competence which may be due to various factors such as first language loss, incomplete acquisition, pidginization, and probably some other factors. A language that undergoes attrition is called *reduced* and is opposed to a *full* language, i.e., the language characterized by full conventionalized knowledge. (There are other terms used to refer to restricted language competence, as well; it is beyond the goals of this paper to evaluate them, though a uniform terminology would definitely benefit the field.) Language *death* is the end result of language attrition, though language death can also be instant, due to the physical disappearance of all the relevant speakers [Campbell, Muntzel 1989: 182–183; Menn 1989; Wurm 1991].

As the paper will discuss different variants of Russian, it will maintain the distinction between *Full Russian* and *American Russian*. To describe the difference between these variants, two binary notions will be used: *first/second* language and *primary/secondary* language. The first and second language are distinguished by the temporal order of acquisition. The primary and the secondary language are distinguished by the prevalence of usage. Thus, if an individual learns language A as his/her first language and speaks it predominantly throughout the adult life, this

language is both first and primary. If an individual dramatically reduces the use of his/her first language A and switches to using language B as a more important one, then A is characterized as the first/secondary language, and B becomes this person's second/primary language.

Full Russian is understood in a broader sense than Contemporary Standard Russian, as a primary language including different lectal variants, not necessarily spoken on territories populated by ethnic Russians.

American Russian is the first language that becomes secondary; it is spoken by those who acquired it as their first language and then switched to English as their primary language. Importantly, the degree of attrition in American Russian varies across individual speakers: for some, it is a well-maintained secondary language, while others can be described at best as semi-speakers. This paper concentrates on those speakers who demonstrate a higher degree of attrition. However, they co-exist with more fluent and competent speakers who do not demonstrate the significant structural changes discussed below.

There is also another variant of Russian spoken in the US, *Emigré Russian*, defined as the Russian language as spoken in North America by the first generation of immigrants, who grew up speaking Full Russian and came to America as adults. For these speakers, Russian remains their first and often primary language; thus, the distinction between Full and Emigré Russian is rooted in territorial criteria. For a description of Emigré Russian, see [Benson 1957; Andrews 1993a; 1994; Polinsky 1995].

In the previous treatments of Russian in America [Wells 1932; Benson 1957; 1960; Andrews 1990], the terms Emigré Russian, Immigrant Russian and American Russian are used without much distinction. Thus, Benson speaks of Immigrant Russian press [Benson 1957] and American Russian [Benson 1960]. The latter work seems to include data on both Emigré Russian and American Russian though no clear distinction is made². Polinsky [1995] introduces the distinction and describes characteristic features of Emigré Russian.

3. Elicitation techniques in the study of a reduced language. Dealing with a reduced language poses certain problems unanticipated in a more traditional fieldwork setting where the linguist deals with a full language. This section describes the elicitation techniques used in this study and

focuses on the special problems that arise with regard to a reduced language.

Full language fieldwork relies heavily on acceptability judgements where the speaker is presented with several linguistic expressions and is asked to determine which expressions are ill-formed, which are marginal, and which are good/best. This can be done either directly, by asking speakers to express their opinion of the expression or by using the paraphrase technique when a speaker is asked to say something in a different way and to comment on the appropriateness of each expression. Another fieldwork technique commonly used with full languages, especially at the initial stages of fieldwork, is the elicitation of translation equivalents. Finally, full language fieldwork is based on direct elicitation of data, in narrative texts and in a conversational setting.

Of these three basic techniques, the first two are virtually impossible in working with a reduced language. Unlike competent language speakers, speakers of a reduced language cannot be accurately tested for use of ungrammatical forms or for acceptability judgements. If asked «Can you say so...?» or «Is the following correct?», speakers usually agree unless some very basic principle of grammar is violated. To illustrate this, let us present an interview where an American Russian speaker J. was offered a *mêlée* of non-normative, marginal, and clearly ungrammatical expressions. At the time of the interview, J.³ was 25 years old and had lived in the US for 14 years. The interview was conducted in English and Russian.

(1) Interviewing an American Russian speaker, 25 years old, female, b. in Moscow; US resident for 14 years (I. — investigator; S. — speaker; numbers indicate lines)

1. I.: Could you say in Russian «Я всегда здесь кушаю»?
2. S.: Да, «Я кушаю».
3. I.: How about «Я всегда здесь ем»?
4. S.: That's OK.
5. I.: Which one do you prefer, which one would you say more often?
6. S.: I don't know, people say both, I don't care.
7. I.: Can you say «Покушав, у меня заболел живот»?
8. S.: Yeah.
9. I.: What do you think of «синий пальто»?
10. S.: That's fine.

11. I.: А «сладкое кофе»?
12. S.: Sure.
13. I.: How about «Ты думает, что я говоришь глупости»?
14. S.: No, «Он думает, # я говорю...».
15. I.: Which form do you prefer: «вы прáва», «вы правá» or «вы прáвы»?
16. S.: I don't know.
17. I.: Have you ever heard any of these?
18. S.: I don't recall.
19. I.: What's better: «пóняла» or «понялá»?
20. S.: Both are OK.
21. I.: Could you say «Я видел никого»?
22. S.: I don't know, # «Я видел никого», # something is missing here.
23. I.: Could you say «я победу»?
24. S.: Like 'I'll win'? Yes.
25. I.: Do you have any preference regarding the following three phrases: «ехать в автобусе / — на автобусе / — автобусом»?
26. S.: I don't know.

This interview, which was used as part of a standard preliminary interview with all speakers, tests several grammatical features, some of which are indicative of core grammar and others pertain to finer grammatical, lexical, and phonological points.

J. accepts the violation of adjective-noun agreement (line 10). She corrects the violation of verbal agreement (line 14); interestingly, here she keeps the form of the verb and changes the personal pronoun from second to third person; this is unnatural from the viewpoint of parsing and suggests that she does not retain the entire sequence well enough. (Five speakers of Full Russian who were interviewed in the same manner all started with the personal pronoun *он* and corrected the form of the verb.) Finally, though she feels some inadequacy of the example in line 21, J. is unable to correct it (line 22). This indicates that at least part of J's core grammar is lost. Expectedly, J. accepts deviations from Full Russian in more peripheral phenomena, for example in the control of the gerund clause:

- (2) * Ø покушав, у меня заболел живот.

Note that J. accepts the example in line 7.

Several examples throughout the interview indicate that it is virtually impossible to elicit J's acceptability judgements. She is offered different

variants in lines 1 and 3 (two different verbs 'eat'), 15 and 25; in these cases, she accepts all variants.

Acceptability judgements, therefore, are of little help in fieldwork on a reduced language. Translational elicitations also prove futile because American Russian speakers lack the vocabulary necessary for translations.

This leaves the linguist working on this type of language situation mostly confined to observation. In other words, the most efficient and probably the only way to record the language is to record spontaneous speech. However, such elicitation is not unproblematic either. With American Russian speakers, it was very difficult to elicit a sizeable and coherent narrative. The best solution found in this study was the retelling of a book or a movie; because the informants in this group were fairly young, the life story narrative, which usually works well with older speakers, did not prove particularly useful. The other choice was the discussion of the generation gap and the speakers' differences with their parents.

In addition to the interviews conducted by the investigator, the speakers were followed in two other types of environment: conversations with other American Russian speakers and conversations with people who spoke primarily Russian (usually the speakers' relatives). Only the spoken language was studied.

The next section discusses the procedure used in the selection of subjects and the characteristics of the American Russian speakers involved in this study.

I. Proficiency and speaker pool selection

1. Proficiency assessment. *Proficiency* is understood here as the level of linguistic knowledge as represented in the command of the vocabulary; proficiency is distinguished from competence — the overall set of internal rules, phonological, lexical and structural, that enables a person to speak and understand a language.

It is fairly easy to assess the linguistic *competence* of someone who speaks a language well-known to the investigator; such assessment is based on intuition. However, the real problem lies in assessing competence in objective terms and also assessing competence in a language the linguist does not know well.

To formally assess their language proficiency, the speakers were asked to translate 100 words of the basic vocabulary list (the Swadesh list) from English into Russian (see Table 1). The number of correct translations was taken as a measure of an individual's proficiency in Russian. The list of correct translations was established using a comprehensive English-Russian dictionary [Galperin 1977]; if an English word had several translations into Russian, the translation listed first was chosen. The resulting list, presented in Table 1 below, was then rechecked in consultation with two speakers of Contemporary Standard Russian.

It has to be remembered that the English words in the basic vocabulary list are used as words of a metalanguage (to indicate this below, such words appear in quotes). If the speakers' primary language had been one other than English, the list would have appeared in that language. The way the concepts in English are listed in the tables below, one might consider some of them ambiguous (for example, *bark*); this ambiguity is only superficial, and such words were presented to speakers with relevant explanations. Similarly, if an English word could be interpreted as a noun or as a verb (*drink, bite*), the speakers were informed beforehand which interpretation was requested. All the translations were elicited in the spoken form in a direct interview with the investigator. Where possible, visual support was given to make sure that the speaker understood the concept unambiguously.

The statistical procedure used to measure proficiency on the basis of the Swadesh list is very similar to the one employed in historical linguistics: the translations elicited from a given speaker are compared to the Full Russian list. Each mistranslation (e.g., *liver* translated as *почка* 'kidney'; the correct translation is *печень*) or absence of an answer costs the speaker one point. If a word is translated by the correct root form but the choice of the word form is wrong (for example, if the singular is translated as the plural), 0.5 is deducted. The total number of wrong forms is then deducted from the number of items on the list (100); the result is taken as the numerical value of a speaker's proficiency. Thus,

(3) Estimating proficiency by the basic vocabulary list (100 items)

Wrong word = 0.

No translation = 0.

Wrong form = 0.5.

$100 - N_{\text{wrong}} = \text{numerical value of linguistic proficiency.}$

To illustrate this procedure, let us look at the test performance by the female speaker Le. (the list of speakers is given in Table 2 below). This speaker failed to translate from English into Russian the words *claw*, *liver*, and *bark*. She also translated *grease* as *масло* 'butter', instead of the correct *жир*; instead of the correct *есть* 'eat', she used the non-standard (though widespread) *кушать*; and she translated *seed* as *зёрнышко* 'little kernel', instead of the correct *семя*. Finally, she used the plural *вши*, to translate the singular *louse*.

Another common deviation from Full Russian that Le. also had is the choice of gender in the citation form of adjectives. Full Russian speakers, including young children, standardly use the masculine as citation form for adjectives; also, the masculine is invariably used by Russian dictionaries. Meanwhile, American Russian speakers apparently oscillate between the masculine, on the one hand, and the neuter (or feminine), on the other. To discuss this oscillation, we need briefly to review the phonology of Russian adjectival endings.

Ignoring some dialectal varieties, the majority of Full Russian speakers do not distinguish between the pronunciation of the feminine and neuter adjectives with unstressed endings; thus in (4a, b):

(4a) *синяя* [sʲinʲəjə] 'blue (fem.)' — *синее* [sʲinʲəjə] 'blue (neut.)'

(4b) *малая* [máləjə] 'small (fem.)' — *малое* [máləjə] 'small (neut.)'

The distinction is easily perceptible in adjectives with stressed endings, as shown in (4c):

(4c) *больная* [bəlʲnájə] 'sick (fem.)' — *больное* [bəlʲnójə] 'sick (neut.)'

The same pronunciation distinction is retained in the speech of American Russian subjects. Thus, at the elicitation of adjectives with unstressed endings, if a speaker did not use the masculine, it is impossible to determine which gender, feminine or neuter, was actually used. There is indirect evidence, coming from the adjectives with stressed endings, that American Russian speakers tend to use the neuter form, e.g., they use *большое* 'big (neut.)'; see also example (25) below. However, it would be more accurate to characterize the non-masculine adjectives with unstressed endings as epicene. In Table 1 below, the epicene forms have a tilde in the place of the ending.

Le. used the epicene for the following adjectives: 'long', 'red', 'yellow', 'green', 'white', 'black'; the fact that she used masculine to translate sev-

eral other adjectives, e.g., 'new' and 'big', indicates that she has some concept of the right citation form. Overall, Le. had the following deficiencies in the basic vocabulary list:

(5a) 3 absent + 3 wrong + 7 wrong forms $\times 0.5 = 9.5$.

(5b) proficiency: $100 - 9.5 = 90.5$.

Accordingly, Le.'s proficiency in Russian was estimated at 90.5 per cent.

2. How basic is the basic vocabulary? Of course, the procedure described in section 1 has its drawbacks, some of which it shares with the basic vocabulary procedure as applied in historical linguistics. To anticipate possible criticisms, let me discuss three issues here. First, as was stated above, the goal of this study is to investigate language attrition at different levels of language structure, with special emphasis on morphology and syntax. One might object that morphosyntactic attrition would not necessarily correlate with lexical attrition, and it is the latter that the basic vocabulary technique is geared to. This correlation was empirically sustained, which in itself is one of the major findings of this study. This will be discussed below (section III).

Second, with regard to the procedure, one might object that there is a certain degree of arbitrariness in taking off points for the wrong citation forms; if Russian were compared with some language without a lexicographic tradition, this might become a hindrance. However, any language, either documented or not, has established citation forms for major word classes. In languages like Russian, these citation forms are codified by dictionaries; otherwise, citation forms can be easily established in interviews with fluent competent speakers. The very absence of a standard citation form indicates some dissociation from the dominant linguistic environment, which can lead to attrition.

Third, the list used here was apparently designed for non-urban cultures; the speakers interviewed in this study commonly stumbled over words such as *bark*, *louse* or *ashes*. Though these are not the most common concepts for a twenty-year old in New York or Chicago, any competent speaker of the language would have no problem translating these words into Russian. The interesting question, of course, is whether or not the most common gaps observed in the American Russian word

It can be somehow projected to wider applicability. To discuss this question, let us first look at the actual discrepancies between the Swadesh lists in American Russian and in Full Russian. These are summarized in Table 1.

Table 1 (beg.) AMERICAN RUSSIAN AND FULL RUSSIAN: BASIC VOCABULARY LIST¹

Concept	American Russian	Full Russian
I	я	я
you	ты	ты
we	мы	мы
this	это	этот
that	то	тот
who	кто / что	кто
what	что / как	что
not	не / нет	не
all	все / всё	все
many	много	много
one	один	один
two	два	два
big	большое / большой	большой
long	длинн~ / длинный	длинный
small	маленьк~ / маленький	маленький
woman	женщина / тётя	женщина
man	мужчина / человек / дядя	мужчина
person	человек	человек
fish	рыба	рыба
bird	птица	птица
dog	собака	собака
louse	- / вша, вши / муха	вошь
tree	дерево	дерево
seed	- / зерно / зёрнышко / семечка	семя

Table 1 (cont.)

Concept	American Russian	Full Russian
leaf	лист / листик	лист
root	корень / -	корень
bark (of a tree)	- / кора / кожа	кора
skin	кожа	кожа
flesh	тело / мясо	плоть
blood	кровь	кровь
bone	кость	кость
grease	жир / масло	жир
egg	яйцо	яйцо
horn	труба / рога / -	рог
tail	хвост / сзади / зад	хвост
feather	перо / перье	перо
hair	волосы / волос	волосы
head	голова	голова
ear	уши	ухо
eye	глаза	глаз
nose	нос	нос
mouth	рот	рот
tooth	зуб / зубы	зуб
tongue	язык / -	язык
claw	- / ноготь / когти	коготь
foot	нога	нога
knee	коленка	колени
hand	рука	рука
belly	живот / желудок	живот
neck	шея	шея
breasts	грудь / сися / -	грудь
heart	сердце	сердце
liver	- / почка / печёнка / сердце / бок	печень

Table 1 (cont.)

Concept	American Russian	Full Russian
drink	пить	пить
eat	кушать / есть	есть
bite	- / укусить	кусать
see	видеть	видеть
hear	слышать / слушать	слушать
know	знать / узнать	знать
sleep	спать	спать
die	умереть	умирать
kill	убить	убивать
swim	плыть / плавать / купаться	плавать
fly	лететь / летать	летать
walk	идти / ходить / гулять	ходить
come	идти / приходиться	приходить
lie	лечь	лежать
sit	сидеть	сидеть
stand	встать	вставать
give	дать	давать
say	сказать	говорить
sun	солнце	солнце
moon	луна	луна
star	звезда / звёзды	звезда
water	вода	вода
rain	дождь	дождь
stone	камни / камень	камень
sand	песок / -	песок
earth	земля	земля
cloud	облако / туча	облако
smoke	дым / облако	дым
fire	огонь	огонь

Table 1 (end).

Concept	American Russian	Full Russian
ashes	-	зола / пепел
burn (vi)	обжечь / гореть / жечь	жечь
path	дорога	тропа
mountain	гора	гора
red	красн~	красный
green	зелён~	зелёный
yellow	жёлт~	жёлтый
white	бел~	белый
black	чёрн~	чёрный
night	ночь	ночь
hot	горячо / горяч~	горячий
cold	холодно / холодн~	холодный
full	полн~ / большое	полный
new	нов~	новый
good	хорош~ / хорошо	хороший
round	кругл~	круглый
dry	сухое	сухой
name	имя	имя

¹ American Russian translation variants are listed in decreasing frequency; sign «~» – epicene ending in adjectives. American Russian citation forms are given only in the infinitive, to minimize the number of variants in the table. Other citation forms included third person singular, first person singular, and imperative.

The two major reasons for gaps in the Swadesh list are the lack of the right word or the misuse of the word form, in particular, the lack of knowledge of the citation form. Among the misused citation forms, the three most common cases seem to be the wrong form of the adjective (see above); the plural, instead of singular, form of the noun (e.g., *вши*, instead of *вошь* for 'louse'; *уши* 'ears', instead of *ухо* 'ear'), and the incor-

rect aspectual form of the verb. With regard to the latter, the Full Russian citation form requires that the verb be given in the imperfective; meanwhile, American Russian speakers demonstrate significant variation between perfective and imperfective. Thus, verbs *die*, *kill*, *say* were only used in the perfective (*умереть*, instead of the imperfective *умира́ть*, *убить*, instead of the imperfective *убива́ть*, and *сказать*, instead of the imperfective *говори́ть*). The oscillation between perfective and imperfective in citation forms of American Russian suggests that the category of aspect, which penetrates the grammatical system of Full Russian, becomes lexicalized in American Russian (see also below).

Possible reasons for the lack of words become clearer if we divide the American Russian word list into three groups: those concepts the words for which are the same as in Full Russian; concepts that allow some variation, and concepts that allow most variation. As the names in the first group do not change from Full Russian to American Russian, this group can be characterized as stable. To distinguish between the two other groups, a simple procedure was used: if the concept was rendered in American Russian by two different words, it was classified as allowing some variation; concepts rendered by more than two words were classified as allowing most variation.

Unlike the procedure used for measuring proficiency, no points were deducted here for a wrong citation form; thus, the use of two different aspects for *swim* (the iterative *плава́ть* and the unidirectional *плы́ть*) counted as one form; the singular *зуб* and the plural *зубы* for 'tooth' were treated as a single word. The absence of a translation counted as a (zero) word. The results of this classification allow us to distinguish between basic vocabulary items of highest stability, intermediary stability, and lowest stability:

HIGHEST STABILITY: big, bird, black, blood, bone, die, dog, drink, earth, egg, fire, fish, foot, give, green, hand, head, heart, I, kill, knee, know, lie, long, many, moon, mountain, mouth, name, neck, new, night, nose, one, person, rain, red, say, see, sit, skin, small, sun, that, this, tree, water, we, what, white, yellow, you.

INTERMEDIARY STABILITY: all, belly, cloud, cold, come, ear, eat, eye, feather, fly, full, good, grease, hair, hear, hot, leaf, not, path, root, sand, say, smoke, stand, star, stone, swim, tongue, tooth, walk, who, woman.

LOWEST STABILITY: ashes, bite, breast, burn, claw, flesh, horn, liver, louse, man, seed, tail.

The stability of words can probably be explained in terms of the pragmatic importance of the respective concepts. Given that all the subjects interviewed in this study represent the urban environment, poor retention of words describing nature or animals is probably understandable (see [Gonzo, Saltarelli 1983], for similar observations based on the data from Immigrant Italian). However, there are significant parallels between stability of concepts in American Russian and in several creole languages, which are characterized by a different habitat. According to the lexical study of several pidgins and creoles [Belikov 1987], Sranan, Jamaican Creole, Krio, Tok Pisin, Bislama, Haitian, Mauritian Creole, and Negerhollands are quite similar with regard to relative stability of the basic vocabulary concepts. In these languages, the concepts 'long', 'root', 'seed', 'hot', 'bark', 'claw', 'louse', 'breast', 'liver', 'belly', 'grease' are unstable, just as in American Russian. This similarity suggests that under restricted communicative circumstances characterizing both a reduced language and a pidgin or an early creole, the need for some concepts may not arise till later, which explains the absence of such words or their ad hoc formation.

The fact that stable items in American Russian outnumber the two other groups suggests that the process of attrition is still in its relatively early stages: a large number of Full Russian lexical items are retained. Hypothetically, as language attrition progresses, the group of stable concepts would become smaller. However, this proposition needs to be examined further using data from several languages.

3. American Russian speakers. The speakers in this study were relatively young people, now in their twenties and thirties, who originally spoke Russian as their first language but for whom communication in Russian is now severely limited or is close to entirely passive. Thus, Russian has become their secondary language. For all these subjects, English is now their primary language. All the subjects consulted in this study speak Russian only when prompted and only as a second choice; thus, they would speak it to their parents or grandparents or to people whom they don't expect to speak English. Incidentally, they always use English with siblings, and the numerical results (see below) indicate

greater language loss for those who grew up with siblings. With the exception of one case, the attitude towards the reduced language ranged between indifference and feeling of inferiority. Usually, no real stigma was attached to speaking Russian; sometimes the subjects even expressed the wish they spoke Russian better.

Although the sociology of American Russian is beyond the scope of this paper, it is important that the speakers in this study have had no exposure to Full Russian since their arrival in the US. (The speakers cannot write Russian at all; three people in the sample did not know Cyrillic, the rest had problems reading it.) From the linguistic standpoint, this presents a unique opportunity of studying a reduced language completely separated from its non-reduced variant.

The speakers left the Full Russian environment between the ages six and fourteen. The general policy of initial selection of speakers established the threshold age of exposure to Full Russian as twelve. However, one exception was made for a speaker who left Russia at 14 and who now speaks remarkably poor Russian. In this case, the speaker seemed to have some learning disabilities and probably could not maintain two languages simultaneously because of her limitations.

A note on code-switching and code-mixing is in order here. As will be obvious from the examples below, code-switching, even within a sentence, is a common phenomenon for American-Russian speakers, primarily because of their restricted Russian vocabulary. It is generally assumed that bilingual speakers can control code-switching, modifying its level to suit a specific communicative situation (on code-switching under attrition, see [Seliger, Vago 1991: 7, 10]). American Russian speakers seem to lack this ability: there was no difference in the number of English words and expressions that were used in the speech addressed to another American Russian speaker, to the investigator, or parent/relative whose knowledge of English was viewed as very limited. The subject of the conversation seemed to be the only factor affecting the degree of mixing; thus, the number of English words definitely increased when the subjects spoke about their education or career and dropped when they spoke about their family.

The preliminary selection of American Russian speakers was based on the sample interview, similar to the one illustrated in (1) above, and on the proficiency assessment described in this section. On the basis of

these criteria, 18 speakers were drawn from a larger pool of about one hundred speakers who underwent preliminary testing by the basic vocabulary technique described above. The speakers are listed in Table 2. As this table indicates, the highest proficiency in Russian was 90.5. This proficiency threshold was established based on the empirical evidence, where these speakers were compared to those with higher proficiency. Speakers with proficiency over 90 per cent did not demonstrate significant structural differences from speakers of Full Russian or Emigré Russian and were, therefore, rejected.

Another question concerns the lowest proficiency threshold: is such a threshold needed? Of all the subjects originally interviewed, only two could not speak any Russian whatsoever; both failed to translate over 70 words of the list, which indicated proficiency of about 30 per cent. One of these subjects arrived in the US from Moscow when he was seven years old; he was 23 at the time of the interview. The other speaker emigrated when he was nine and was 30 at the time of the interview. Both of them were unable to produce any sentences in Russian and could hardly understand spoken Russian. When asked to repeat simple sentences in Russian, they found it very difficult. There were no speakers with intermediate proficiency, between 30 and 70, which of course may be the effect of the specific pool. All the subjects listed in Table 2 could construct Russian sentences and short texts and adequately reacted to questions in Russian.

Table 2 (beg.) AMERICAN RUSSIAN SPEAKERS¹

Speakers	Age emigrated	Origins in Russia	Years in the US	Attrition index
B. (m.)	7	Moscow	11	86.5
G. (m.) &	6	Leningrad	16	82
K. (m.)	9	Moscow	17	88.5
Ko. (m.)	10	Tashkent	10	90
Ma. (m.) &	7	Moscow	17	74
Na. (m.) &	7	Odessa	8	77
P. (m.)	8	Moscow	9	86
S. (m.)	9	Kiev	12	88.5

Table 2 (end).

Speakers	Age emigrated	Origins in Russia	Years in the US	Attrition index
Z. (m.) &	11	Minsk	12	84
Zh. (m.)	9	Moscow	18	89.5
A. (f.) &	5	Kiev	12	77
E. (f.)	7	Leningrad	14	89
I. (f.)	7	Leningrad	11	88.5
L. (f.) & ^{II}	14	Moscow	13	84.5
Le. (f.) & ^{II}	7	Moscow	13	90.5
M. (f.)	9	Kharkov	12	88.5
N. (f.)	12	Kiev	3	90
Sv. (f.)	5	Odessa	12	75

^I m. — male; f. — female; & — grew up with a sibling.
^{II} L. and Le. are sisters.

In addition to the older speaker (L.) mentioned above, another remarkable speaker is N., who lost much of her Russian after having been in the US for only three years, due to the extremely high value she attaches to English and extremely low subjective assessment of Russian, which she viewed as a stigmatized language.

The next section describes lexical, grammatical and syntactic change in American Russian compared to Full Russian. Phonological and tonal differences between American Russian and Full Russian were not studied; some important comparisons can be found in [Andrews 1993b].

II. American Russian: structural characteristics of attrition

1. **Lexicon.** The major feature of the American Russian lexicon is its deficiency: speakers lack significant portions of the vocabulary, not only at the level of performance but also at the competence level. As a result, they cannot understand words or shades of meaning. The experiment with the basic vocabulary list already revealed significant gaps in the vocabulary of American Russian speakers. The absence of lexical items is

compensated for by switching to English. Thus, the elicitations from American English speakers are full of English words which are not adopted into the Russian sound system. Accordingly, we are dealing with extensive code-switching which is in general indicative of language loss.

Often the speakers know a Russian word passively but lack direct access to it. This inaccessibility results in the slow tempo of speech: it takes time for a speaker to recall the word. In the time an average Full Russian speaker will usually say ten words, an American Russian speaker averages six. Slower pacing of American Russian finds parallels in extended pidgins and early creoles, which differ from languages with the discontinuous tradition in a similar manner [Mühlhäusler 1986: 151]. According to Mühlhäusler, the reasons for this may be twofold: first, speakers of a pidgin are less certain of their communicants' proficiency and try to secure proper decoding by clearer and slower speech; second, speakers are uncertain in their own language ability.

In addition to its relatively slow tempo, American Russian is characterized by numerous lengthy pauses between words, in particular between the elements of a single constituent. In (6), (7) below, pauses occur between the preposition and the nominal in the following examples (code-switched English words are in italics):

American Russian:

(6) Моя сестра она # учит в # *elementary* школа.

(7) Всегда я получала *A's* от # этот *professor*.

It is possible to explain the pauses in (6), (7) by the fact that the speaker is looking for a Russian word (incidentally, in both cases the speaker ends up switching to English)⁴.

Another outcome of the lexical inaccessibility is the misuse of words; see Table 1 for the incorrect translations of basic vocabulary items and cf. (8):

American Russian:

(8) Часто моя мама пропадает деньги.

A common reason for the misuse of the word is the interference of English, especially if the Russian and the English words are cognates. In Full Russian, *нервный* 'nervous' can denote only a permanent characteristic, while the English cognate *nervous* may refer to a temporary state. The interference of the English word explains the misuse of *нервный* in (9).

Full Russian requires a verb, not an adjective, to describe a temporary state of nervousness:

American Russian:

(9) Сегодня он очень нервный.

The English *character* in the meaning 'personality in a drama, novel' corresponds to the Russian *герой*. In American Russian, however, *характер* is used in the meaning of *герой*.

The interference of English is even stronger in direct translation from English into Russian, for example:

American Russian:

(10) Они были в любви.

(11) Сегодня моя машина, она не начиналась.

The tendency to translate from English into Russian is also present in the use of discourse markers. American Russian speakers try to avoid English forms, with the exception of *OK*. Instead, they literally translate English discourse markers into Russian. Predictably, the following discourse markers and fillers occur: *ты знаешь* 'you know'; *хорошо / ладно* 'well'; *так* 'so'. Compare (12) with its English translation, where *well* is normal. In Full Russian, the word *хорошо* is less desemantized than the English *well*; accordingly, a sequence such as in (12) would be unacceptable because of the pragmatic conflict between the word *хорошо* 'well done; nice' and the word *неудобно* 'embarrassing'.

American Russian:

(12) Это будет # хорошо # неудобное.

The description of lexical processes in American Russian given here is by no means exhaustive but it allows us to outline the major lexical characteristics of this variety, namely: code-switching (due to lexical gaps), incorrect use of words, and direct translation from English into Russian.

2. Morphology. The discussion of the grammatical system of American Russian begins with case distinctions. Full Russian maintains, under a simplified view, a six-case system (nominative, accusative, dative, genitive, instrumental, prepositional): American Russian abandons this case system; importantly, the loss of the case system is systematic and can be represented in terms of a case shift rule (see (48) below).

2.1. Loss of the instrumental. In Full Russian, verbs *быть* 'be', *становиться* 'become', *оставаться* 'remain', *умирать* 'die', can assign either the nominative or the instrumental case to the predicative nominal and predicative adjective, for example in Full Russian:

(13a) Моцарт был композитор.

(13b) Моцарт был композитором.

These verbs and verbs of motion also take predicative adjectives, again either in the nominative or in the instrumental, as illustrated by Full Russian examples (14a) and (14b) respectively:

(14a) Моцарт умер нищий.

(14b) Моцарт умер нищим.

With predicates in the future tense, Full Russian shows a preference for the instrumental case on the predicative nominal, thus:

(15a) Этот мальчик будет пожарником.

(15b) Этот мальчик будет пожарник.

In American Russian, predicative nominals and predicative adjectives are always used in the nominative. For example, with the verb in the future (16) and with the potential (17), the predicative nominal is in the nominative; in (17), the second predicate also takes the adjective in the nominative:

American Russian:

(16) Он будет звезда.

(17) Она хочет быть модель, и она будет тонкая для это.

In standard Russian, the instrumental case is required for predicative nominals and predicative adjectives in the argument structure of such verbs as *помнить* 'remember', *знать* 'know', *заставать* 'find', *считать* 'consider', *называть* 'name; call', *представлять себе* 'imagine', *вообразать* 'imagine', *оставлять* 'leave behind', *видеть* 'see', *находить* 'find', *растить* 'raise; bring up', *воспитывать* 'bring up; educate', *посещать* 'visit'. For example, in CSR:

(18) Мы считали [_{SC} её скучным человеком].

(19) Они воспитали [_{SC} ребенка капризным].

In American Russian, the adjective in the transitive verb construction is invariably in the nominative:

American Russian:

(20) Я помню [_{SC} дедушку больной].

(21) Этот город я видел [_{SC} он грязный].

The last example points to two other features of American Russian, namely, the erosion of the accusative, and the elimination of null elements (*этот город* governs *он*, while in the full language the trace must be empty). The accusative-nominative distinction is discussed in 2.1 below, and the absence of null elements is analyzed in 3.2 below.

In Full Russian, another common function of the instrumental is to encode the passive agent. In American Russian, no spontaneous passives were attested; even when translation elicitation was used, speakers translated English passives by active clauses. Thus, the English example in (22) was translated by the active sentence in (23):

(22) This book was bought by Tanya.

American Russian:

(23) Таня она купила эта книга.

This suggests that the passive construction, not just the coding of the passive agent, is absent.

Besides the predicative instrumental, some speakers of American Russian eliminate the instrumental governed by prepositions. Since the loss of the prepositional instrumental is paralleled by loss of other oblique cases governed by prepositions, this process is discussed in the next subsection.

2.2. Development of the prepositional nominative. In Full Russian, prepositional phrases require that the noun be in one of the oblique cases: instrumental, prepositional, dative, genitive, and accusative. Speakers of American Russian tend to replace these cases by the nominative.

Thus, speakers with lower proficiency levels (see Table 2 above) fail to use the instrumental with the prepositions *с* 'with' (24) or *перед* 'in front of' (25):

American Russian:

(24) Я приду с мой boyfriend.

(25) Перед наш дом есть большое lawn.

Most American Russian speakers occasionally use instrumental forms, for example:

American Russian:

(26) В китайский ресторан они едят палочками.

(27) Я плохо пишу ручкой.

The use of a few instrumental forms suggests that they are retained not as elements of the respective nominal paradigm but as lexicalized adverbials. For instance, the use of *ручкой* in (27) does not necessarily mean that the respective American Russian speaker retains the paradigm or even parts of the paradigm of the nominal *ручка* 'pen'. This speaker is more likely to have, as separate lexical items, the non-declinable nominal *ручка* and the adverbial *ручкой*. Similarly, some other prepositional phrases are also retained as adverbials.

The loss of the prepositional case is illustrated by the locative phrase in (26). Some other examples:

American Russian:

(28) В университет книги будет дорого.

(29) Мой дедушка был на мировая война.

Some prepositional phrases retain the standard case form, for example, *в доме* 'in the house', *на машине* 'by car', *на велосипеде* 'by bicycle', *в Москве* 'in Moscow', *в Италии* 'in Italy', *в России* (in (32) below). As the instrumentals, these forms seem to be lexicalized outside the respective nominal paradigm; thus, they function as adverbials.

Full Russian prepositions that assign the dative are also followed by the nominative in American Russian, thus:

American Russian:

(30) И он пошел к родителям, *foster parents*.

Full Russian prepositions governing the accusative also get the nominative, compare (31):

American Russian:

(31) Моя мама она ездила в Одесса.

The genitive after prepositions is also lost, for example, after *без* 'without':

American Russian:

(32) В России они думают # можно лечить без врач.

Overall, American Russian tends to replace prepositional obliques by nominative forms.

2.3. **Attrition of the genitive.** In Full Russian, the genitive has a large number of uses, which cannot be summarized in this paper (for a detailed discussion of genitive marking, see [Chvany 1975; Babby 1980; Pechetsky 1982; Mustajoki 1985; Neidle 1988]). Of the numerous instances of genitive assignment, this paper will concentrate on the lexically governed genitive and genitive of negation.

In standard Russian, the lexically governed objective genitive occurs mostly with verbs of emotional perception, aim, request, or achievement, as illustrated in (33):

- (33a) Три месяца он не жил, а лишь ожидал ареста.
 (33b) Я прошу у вас сострадания.
 (33c) Ребёнок боится грозы.

The verbs in (33) can also take an object in the accusative; this object has to be animate and/or highly definite. Thus, the choice between the accusative and genitive is determined by the definiteness/indefiniteness of the object. The acceptability of variation between the accusative and the genitive depends on the individual verb, compare (34b) and (34c) in Full Russian:

- (34a) Было ясно, что он ожидал Марину / *Марины.
 (34b) Я прошу у вас эту книгу / *этой книги всего на два дня.
 (34c) Ребенок боится свою учительницу / своей учительницы.

In American Russian, the lexically-governed genitive is lost to the nominative (in more fluent speakers to the accusative). For example:

American Russian:

- (35) Я ждала плохую историю. (*Le.*, 90.5)
 (36) В *Chicago* все боятся преступники.

The genitive of negation is optional in Full Russian, where it varies with the nominative or accusative, depending on the grammatical relation of the respective nominal. However, the genitive of negation is obligatory after negative existential predicates. American Russian loses both the optional genitive of negation, as shown by (37), and the obligatory genitive of negation, as shown by (38), (39).

American Russian:

- (37) Я не читаю русская книга.
 (38) У неё нет муж.
 (39) Там не было такой врач.

Example (38) also includes the phrase *у неё* 'by her', where the pronoun is in the genitive. The *у*-phrase (the preposition *у* 'by, at' and the genitive nominal) is one of the few environments where the genitive is retained by American Russian speakers. In Full Russian, the *у*-phrase is particularly frequent because it encodes the possessor in the possessive construction with the existential verb 'be', cf. (40):

- (40) У попа была собака.

American Russian speakers often replace this possessive construction by a calque of the English *have* (Russian *иметь*), as in (41) and (42):

American Russian:

- (41) И эта женщина она имела секретная жизнь.
 (42) Я не имею машину.

Another context in which the genitive is well-preserved is the genitive governed by the numeral: even the poorest speakers in my sample maintained the genitive when asked to count using a numeral and a noun. However, this form is retained because of its highly specialized function as a count form, determined by the genitive [Babby 1984; Mel'čuk 1985: 27–34]. In a sense, this retention can be compared to the adverbial-like retention of some prepositional phrases: the count form is not associated directly with the overall declension paradigm of a given noun.

2.4. **Argument case shift.** The main verbal arguments are commonly encoded by three cases: the nominative, typically assigned to subjects, the accusative, typically assigned to direct objects, and the dative, typically assigned to indirect objects. In American Russian, the dative is regularly replaced by the accusative, as in (43)–(45).

American Russian:

- (43) Я принесла тебя *pictures*.
 (44) Папа рассказал девочку историю.
 (45) Я показываю тебя моя собака.

The dative remains more or less stable with the first person pronoun, for example in (46a, b) (see also (51) below).

- (46a) Покажи мне твой дом.
 (46a) Позвони мне завтра.

Better retention of the dative with pronouns may be indicative of a general tendency observed in different languages under attrition: pronominal paradigms are retained longer than the nominal ones.

The accusative is often replaced by the nominative: examples above are (23), (36), (37), (41), (45). Over all, the argument case system of American Russian undergoes the following case shift:

(47) Dative → Accusative → Nominative (argument case shift)

This shift characterizes the changes undergone by the cases that encode major grammatical relations, in particular, the direct and indirect object (the subject case, which is mostly the nominative, remains unchanged). Other cases, which primarily encode adjuncts, also disappear, and their functions are assumed by the nominative. Thus:

(48) Genitive }
 Dative }
 Accusative } → Nominative
 Instrumental }
 Prepositional }

As a result, American Russian develops a two-case system (nominative and accusative). While the nominative becomes the multifunctional case, the accusative is specialized as the case of the indirect object and in some cases is used to encode the direct object. American Russian also keeps a number of prepositional forms and the count form of the genitive but these seem to be fixed as lexical items rather than forms derived by regular case rules.

The important question, of course, is whether the dramatic reduction of cases in American Russian, compared to Full Russian, can be explained by the influence of English, with its extremely shallow case distinctions, or is due to the general process of language death (see [Campbell, Muntzel 1989] for similar examples of case loss). An ideal testing situation would be one where Russian is influenced by a language with a richer case system. If in such a hypothetical situation Russian speakers also used a reduced case system, language death processes would emerge as a valid reason for reduction. For the lack of such a testing situation, both solutions mentioned here remain entirely speculative.

2.5. Loss of verbal and nominal reflexives. American Russian consistently eliminates reflexives. Many verbs that have the reflexive ending are used without it, for example:

American Russian:

(49) Я хочу посмотреть места, где я родила.

The verb *родить*, used in (49), exists in Full Russian but only in the meaning 'to give birth', not 'to be born'. Some other examples:

American Russian:

(50) Там мы блудили.

(51) Мне надо готовить для *finals*.

Other examples of the loss of the reflexive are given in (6), where the verb *учить* (Full Russian 'to teach') is used instead of the verb *учиться* 'to learn, to study', and in (25), where the verb *лечить* 'to treat' is used instead of *лечиться* 'to obtain treatment'.

American Russian also uses the combination of a transitive verb and object in lieu of the Full Russian reflexive; this is apparently a manifestation of analyticism, characteristic of American Russian in general:

American Russian:

(52) Я причёсываю мои волосы тоже вечером.

(53) Он не умывал его лицо.

Examples such as (52), (53), can also be explained by a direct influence of English where the object, in this case a body part, has to be expressed.

Some fossilized reflexive verbs that have no non-reflexive counterparts in Full Russian, are retained in American Russian. The speakers in this study consistently used *смеяться* 'laugh', *улыбаться* 'smile', *бояться* 'be afraid of', as in (36) above; *заботиться* 'take care of', as in (57) below.

The possessive reflexive *свой* is consistently replaced by the regular possessive pronoun of the respective person. Thus, in example (45) above, the possessive pronoun *моя* 'my' is used instead of the reflexive; in (46), *твой дом* 'your house' is used in the place of Full Russian *свой дом* 'self's house'. Another example:

American Russian:

(54) Он_i говорит его_j дела только.

In Full Russian, the contrast between the possessive reflexive and the regular pronominal possessive can be used for reference-tracking in discourse (for details, see [Padučeva 1985: 180–200]); compare (55a) and (55b):

(55a) Иван_i прочитал Петру_j свои_i/*_j стихи.

(55b) Иван_i прочитал Петру_j его_j/*_i стихи.

There were no spontaneous American Russian examples involving such contrast. Skepticism with regard to elicited judgements notwithstanding, example (55b) was invariably interpreted as ambiguous by American Russian speakers, with *его* referring to either Ivan or Peter. The loss of the possessive reflexive can also be explained by the direct influence of English, where simple possessive pronouns are used. Incidentally, American Russian has a greater number of overt possessive pronouns, often in those cases where, in Full Russian, possession would remain unexpressed and would be recoverable from the context. For example, the sentence in (53) above would sound more acceptable to a Full Russian speaker if *лицо* 'face' appeared without any possessive pronoun, in which case the semantics of possession would be recovered from the context.

The only reflexive which is retained in American Russian, at least to a certain extent, is *себя* 'self'. Its preservation is probably related to the influence of English *oneself*, because *себя* occurs most commonly where the English counterpart is needed. However, *себя* loses, partially or entirely, its nominal declension paradigm, as illustrated by (57), where Full Russian requires the prepositional case. Examples:

American Russian:

(56) Я заставляю себя читать из русские книги.

(57) Мой брат он заботится о себя.

Overall, the general decline of reflexive forms in American Russian poses an interesting question: can this loss of reflexives be explained entirely by the influence of English, where morphological reflexivity is less prominent than in Russian, or is this a more general tendency of human language, or both? An indirect argument in favor of the influence of English comes from American Swedish: while Full Swedish also has a developed system of reflexive marking, American Swedish loses it [Hasselmo 1974: 161].

The possible non-contact explanation of reflexive loss is supported by the observation that many of the world's languages do not have overt reflexives (for example, Austronesian languages, see [Keenan 1993]). It is possible that the loss of reflexives under attrition would represent a

shift towards the unmarked, basic situation which might be more representative of language universals than Indo-European overt marking of reflexivity.

2.6. **Loss of the conditional.** Full Russian has two basic conditional forms, a more frequent analytical form with the particle *бы*, as in the second clause in (58), and the synthetic form that, in most variants of Full Russian, materially coincides with the modern imperative. This form, illustrated in the first clause of (58), obligatorily precedes the subject.

(58) Знай я это тогда, я бы с ними встретился.

The synthetic form was not attested at all in American Russian. As for the analytical conditional, the tendency is to replace it with the respective indicative forms, as in (59):

American Russian:

(59) Если я знал это, я сказать.

The loss of the conditional is paralleled by the loss of conjunction *чтобы* which introduces subjunctive clauses. This conjunction is replaced by *что*. For example:

American Russian:

(60) Я хочу, что ты встретишь мой *boyfriend*.

Some of the cases where *чтобы* is replaced by *что* can be explained by the influence of English, where *that* can introduce both a clause in the indicative and some purpose clauses. However, examples such as (60) cannot be directly traced back to English and confirm a more general tendency in the loss of the Russian conditional.

2.7. **General increase in the use of analytical forms.** The loss of the synthetic conditional is part of a wider tendency to use analytical forms. American Russian clearly differs from Full Russian in the lack of synthetic forms expressing complex meanings; instead, American Russian uses analytical expressions consisting of several distinct components. The use of such expressions is particularly noticeable in the verbal lexicon. Thus, numerous Full Russian prepositional verbs are rendered in American Russian by combinations of the phase verb and notional verb; for example:

American Russian:

(61) Она никогда она не начнёт говорить ко мне первая.

(62) В *Cleveland* моя мама начала болеть и она пошла в *hospital*.

With regard to synthetic expression of nominal categories, spoken Full Russian seems to favor the analytical strategies as well. Thus the fact that no synthetic forms with the augmentative meaning were attested in American Russian is not significant: Full Russian speakers also prefer to use *очень толстый* 'very thick' instead of the synthetic *толстенный*, or *огромный дом* 'huge house' instead of the synthetic augmentative *домище*.

One distinct case where American Russian retains synthetic nominal forms is the retention of diminutives, particularly in the names of foods. This retention was more pronounced in the speech of those American Russian speakers who come from southern Russian families; diminutives were also observed in the speech of Ko., who grew up in Central Asia (Tashkent). For example:

American Russian:

(63a) Я не люблю паштетик. (*M.*, from *Kharkov*).

(63b) Моя сестра всегда она ест много вареньице. (*Na.*, from *Odessa*).

In spoken Full Russian, diminutives are characteristic of the southern variant and also of adult speech addressed to children [Zemskaja 1973: 54; 1981: 62]. Meanwhile, example (63a) was recorded at the second meeting between the investigator and M., when we had lunch together. The use of the diminutive in such a formal setting suggests that the speaker was not aware of the pragmatic connotations carried by the form. It is possible that the diminutive is the only form in which the names for *paté* and *jam* were retained by the respective speakers; hence, the diminutive semantics is no longer perceptible to them.

Such fossilized diminutives most likely occur in American Russian because speakers acquired them as young children and never reanalyzed them later. In the speech elicited from a young child attriter of Russian [Turian, Altenberg 1991: 222–223], diminutive forms *молочко* 'milk', *яблочки* 'apples', *ножка* 'leg', *волосики* 'hair' occur as the only ones: the child repeats them as heard from his Russian-speaking parent.

2.8. Lexicalization of aspect. The increased use of analytical verbal forms is related to another important feature of American Russian grammar, namely, the lexicalization of aspect. Volumes have been writ-

ten on Slavic aspect, and this paper makes no attempt to resolve the general problems of it. However, if we try to summarize the various views on the Russian aspect expressed in the literature, two major approaches can be distinguished. Under the first approach, aspect is viewed as a grammatical phenomenon, with the grammar somewhat marred by diachronic residues and lexical exceptions [Forsyth 1970; Academy Grammar I: 583–596]. According to the second approach, Russian aspect is a lexical characteristic, with some degree of grammaticization [Bulygina 1982; Comrie 1976].

If American Russian can serve as a litmus test of any kind, Russian aspect is indeed a lexical category. The lexicalization of aspect is reflected in the replacement of the perfective/imperfective opposition by the opposition of telic versus atelic verbs. As a result, verbs no longer form aspectual pairs. Rather, they are either retained as separate entities or just one verb form, perfective or imperfective, is retained and the other is lost. The strategy, when just one form of the verb is retained and the other is entirely lost, seems to be more common for American Russian; this strategy is consistent with the general reduction of the lexicon. Under this strategy, the retention of a certain form is determined by the relative frequency of its use. This tendency can be demonstrated if we adopt Vendler's division of verbs into those of achievement, accomplishment, process, and state [Vendler 1967]. There is no question that this division is a very approximate one; a much finer set of distinctions capturing the aspectual semantics is suggested by Bulygina [1982]. However, Vendler's four-way distinction is sufficient in providing a rough basis for the classification of the tendencies observed in American Russian.

In American Russian, achievements and accomplishments are favored in the perfective form, hence the use of *сделать* 'do', *сможь* 'be able to', *написать* 'write', *прочитать* 'read', *отдать* 'give', *взять* 'take' in the place of their imperfective correlates. A number of similar examples were given in Table 1 above: the informants give the perfective, instead of the imperfective citation form, for 'know', 'die', 'kill', 'lie down', 'stand', 'give', 'say', 'burn'. Some other examples:

American Russian:

(64) Я никогда не прочитал эта книга.

(65) Его отец сначала он отдал его деньги и потом он не отдал.

On the other end of the perfective-imperfective opposition, verbs that do not imply a natural limit, such as processes and states, are lexicalized in the imperfective form. In (66) below, the speaker is retelling a scene in a movie when a character hides for a moment by hanging outside the window:

American Russian:

(66) Он прятался, он висел из окна.

In (67), the speaker comments on his short trip to Princeton:

American Russian:

(67) Мне нравилось в *Princeton*, но я люблю жить в *Chicago*.

The restructuring of aspectual characteristics is also reflected in the simplification of motion verbs. American Russian speakers lose the iterative correlates of the motion verbs; for example:

American Russian:

(68) И тогда он ехать там.

(69) В воскресенье я ехал в *Washington* с мои друзья.

(70) На этот *boulevard* люди бегут.

As far as the perfective-imperfective distinction is concerned, some speakers retain both aspects for unidirectional motion verbs; this was attested for speakers with higher proficiencies, namely: Ko., S., Zh., Le., N. (proficiency range: 88.5–90.5, see Table 2). In (71), the speaker correctly uses unidirectional imperfective expressing planned future action; however, he fails to use the right word, substituting *идти* 'go, walk' for *ехать* 'go':

American Russian:

(71) В август я иду в *Seattle*.

Speakers with the lowest proficiencies (Ma., Na., A., Sv.; range: 74–77, see Table 2) were found to retain perfective unidirectional verbs of motion, for example:

American Russian:

(72) Мой дядя часто он приехал к нам в *Brooklyn*.

(73) Вы любите идти в церковь.

The analysis of American Russian morphology given here is by no means complete. Based on the data available in this study, American Russian differs from Full Russian in greater overall use of analytical

forms, lexicalization of parts of paradigms (for instance, prepositional cases) and lexicalization of aspectual forms, and in elimination of certain distinctions, both in nominal and verbal morphology.

3. **Syntax.** In the discussion of syntactic features of American Russian, a distinction will be made between those features that characterize clausal syntax and sentential syntax.

3.1. **Clausal syntax.** The two major differences between American Russian and Full Russian at this level involve verbal agreement and subject resumptive pronouns.

The term *resumptive pronoun* is used here to denote a pronominal element that is co-indexed with the subject of the same clause. Note that the term is used here in a broader sense than in some syntactic studies, where it is sometimes confined to the pronoun co-indexed only with the relativized NP [Haegeman 1991: 372]. In some studies, particularly those of pidgins and creoles, the term *subject referencing pronoun* is also used [Keesing 1988; Crowley 1990: 230–252].

The loss of the subject verbal agreement in American Russian is clearly related to the destruction of conjugation paradigms, a process parallel to the loss of declension discussed above. However, loss of agreement is most prominent in the speech of the subjects with the lowest proficiencies, namely Ma., Na., A., and Sv. (see Table 4 for the numerical data on loss of agreement). These speakers tend to use the masculine form in the past and the third person singular or the infinitive, as in (28), elsewhere. For example:

American Russian:

(74) Мои родители они купили другой дом. (Sv., 75).

(28) В университет книги будет дорого.

See also examples (36) and (59) above.

As verbal agreement deteriorates, there arises a need for some other grammatical mechanism marking the relation between the subject and the predicate. This explains, if partially, another striking feature of American Russian, namely, the widespread occurrence of the subject resumptive pronoun before the verb. However, there must be some other reason for the rise of the resumptive pronoun because verbal agreement is lost only in the least competent speakers, while the resumptive pronoun is used by practically all the speakers surveyed.

Numerous examples of subject resumptive pronoun appeared above (6), (11), (23), (26), (32), (41), (57), (61), (63), (65), (72), (74). Thus, in (74), the subject *мои родители* is co-indexed with the resumptive pronoun *они* 'they'. It is clear from the examples that American Russian is still at a stage where the resumptive pronoun distinguishes between the person, gender, and number of the subject. The resumptive pronoun is obligatory, even for more competent speakers, if the subject and the verb are separated by intervening lexical material, as in examples (63b) or (65) above.

All these examples involve third person pronouns; the resumptive pronoun co-indexed with first and second person subjects occurs under the two principal conditions: if the subject is separated from the verb by intervening lexical material, as in (75), and if the subject is a compound noun phrase, as in (76).

American Russian:

(75) Ты вчера ты позвонила моя мать для маникюр?

(76) Дима и я мы были вместе в школе.

Another possible explanation for the development of the resumptive pronoun is that the pronominal copy originates as a topic marker (a similar explanation was proposed for Tok Pisin in [Sankoff 1977]). In spoken Full Russian, as well as in a number of other spoken languages, the use of the pronominal topic marker is quite common [Zemskaja 1981: 150 ff.], for example:

(77) Петя у вас, # он что, всегда опаздывает?

However, in spoken Full Russian, the resumptive pronoun signals a change of topic in discourse; therefore, it does not appear after *any* topic. In addition, the resumptive pronoun is clearly separated from the preceding segment by a pause, as indicated by example (77). In American Russian, the resumptive pronoun appears with any subject and/or topic, regardless of topic discontinuity. As for pausing between the resumptive pronoun and the preceding segment, it seems to be less consistent than in a full spoken language: there are numerous cases where no pause occurs at all; on the other hand, as was shown above, American Russian is characterized by aberrant pauses, which makes this criterion invalid.

While it is probably true that the resumptive pronoun originates following the tendency of the full spoken language, it is grammaticized in the

reduced language and has a much wider function in it. That the original function of the resumptive pronoun relates to topic marking is confirmed by the fact that objects usually do not trigger resumptive pronouns. The correlation between subject and topic, on the one hand, and object and non-topic, on the other, is well-known [Li 1976; Givon 1983]⁵.

The grammaticization of the resumptive pronoun under language attrition is probably due to the fact that clausal syntax in the reduced language is shallow and there is a need to signal the unambiguous syntactic relationship between the subject/topic and the predicate. In addition, because of this shallow grammar, there is less confidence on the part of the semi-speaker that the hearer will be able to consistently decode the message. To ensure adequate decoding, the semi-speaker increases the redundancy of the message; the regular introduction of a resumptive pronoun is part of this increasing redundancy.

3.2. Sentential syntax. In sentential syntax, two major tendencies differentiate American Russian from Full Russian. One of these tendencies is a direct continuation of the resumptive pronoun strategy described in the preceding section; it consists of the loss of the anaphoric null copy under clause linkage.

In full languages, there are three basic techniques of reference tracking under coreference: replacement of the coreferential entity by the null copy (78a), replacement of the coreferential entity by a pronominal copy (78b), and the repetition of the full NP (78c), usually when the two other strategies create ambiguity [Foley, Van Valin 1984; Comrie *to appear*]. The following English examples illustrate these three strategies:

(78a) The house_i whirled around two or three times and \emptyset_i rose slowly through the air (*null copying*).

(78b) Dorothy_i felt as if she_i were going up in a balloon (*pronominal copying*).

(78c) Jack_i and Jill_j went up the hill to fetch a pail of water; Jack_i fell down and broke his_i crown and Jill_j went stumbling after (*repetition of the full NP*).

From the viewpoint of economy of expression, the null copy is certainly most efficient; from the viewpoint of processing, the most unambiguous strategy is the use of the full NP. However, such reasoning is valid only if context is ignored, because contextual factors play a crucial role in disambiguation. Once the context is introduced, coreferential reduction is preferred over the unambiguous repetition of NP's, and such pre-

ference recurs cross-linguistically. Thus, the following hierarchy of reference tracking strategies can be established, where the economy of expression is inversely related to the clarity of expression:

- (79) Reference tracking strategies. Full language:
null copy > pronominal copy > full NP

In American Russian, the use of the null copy under coreferential reduction is practically non-existent. Thus, in examples (17) and (62), repeated here, the pronominal copy in the second clause would be redundant from the viewpoint of a full language speaker:

American Russian:

(17) Она хочет быть модель, и она будет тонкая для это.

(62) В *Cleveland* моя мама начала болеть и она пошла в *hospital*.

Some other examples:

American Russian:

(80) Она_i тогда она увидела мою маму, и она_i говорила с моей мамой.

(81) Мы_i видели этот дом и мы_i не любим там.

Not only does the use of the pronominal anaphor increase in American Russian but also the repetition of a full NP under coreference. Thus, in (80), the NP *моя мама* is repeated in the second clause instead of being pronominalized. Another example where a full NP is repeated:

American Russian:

(82) И там мой другой друг_i и мой другой друг_i он не умел *drive a stick-shift*.

The generalization is that American Russian eliminates the null copy strategy and replaces a three-way distinction of reference tracking strategies found in a full language (80) by a two-way distinction shown in (83):

- (83) Reference tracking strategies. Reduced language:
pronominal copy > full NP

The elimination of the null copy is certainly related to the development of a resumptive pronoun at the level of clausal syntax (see section 3.1 above). However, the resumptive pronoun is co-indexed with the subject (and/or topic), while the null copy is successfully eliminated for other grammatical relations as well, as in (79). Again, it seems that the elimination of the null copy is due to the general increase in the redun-

dancy rules observed in American Russian: the speaker, who is lacking confidence that the message would be decoded properly, introduces more «instructional» elements that are supposed to guide the hearer in the processing.

Given the reduction of the hierarchy to just two elements, a pronominal and full NP, another question arises: what are the correspondences between (79) and (83)? In other words, is it possible to establish a set of rules that would match the use of each of the three strategies in Full Russian to the use of a certain strategy in American Russian? One might surmise that coreferential null copying in a full language would correspond to coreferential pronominalization in a reduced language, and coreferential pronominalization and the repetition of a full NP in a full language would correspond to the repetition of a full NP in a reduced language. This supposition is easily refuted, as there is clearly no one-to-one correspondence between the use of the pronominal copy in Full Russian and the use of a full NP in American Russian. Compare (84a), which uses the full NP strategy, and its Full Russian equivalent (84b), which uses the null copy in the second clause:

American Russian:

(84a) Таня_i не будет она говорить, потому что Таня_i не помнит русский.

Full Russian:

(84b) Таня_i не будет говорить, потому что \emptyset _i не помнит русский.

An opposite type of example is shown in (85): here, Full Russian requires that a full NP be repeated in the second clause, but the American Russian speaker uses only a pronominal copy:

American Russian:

(85) Мои родители они пригласили Аллина_i сестра_j тоже, потому что она_{i/*j} очень попросила.

The data collected for this study are not sufficient for the formulation of precise rules that determine the distribution of the pronominal copy and of the full NP under coreference. There seems to be a certain degree of variation between the use of the two strategies but variation of this kind can also be found in Full Russian; compare again (85). Thus, the only solid conclusion at this stage is that American Russian differs from Full Russian, and from Emigré Russian for that matter, in the absence of the null copy under coreferential reduction.

The other feature that differentiates sentential syntax of American Russian from Full Russian syntax is the absence of gapping. Gapping, or deletion of the predicate under co-predication or clause linkage, is functionally similar to the use of the null copy for a coreferential entity. Like null copying, gapping is motivated by economy of expression.

Spoken Full Russian uses gapping very commonly, for example:

- (86) [Мы [_{VP} [_{V1} поедem] на пляж]], а [ты [_{VP} [_{V2} поедешь] на работу] ⇒
⇒ [Мы [_{VP} [_{V1} поедem] на пляж]], а [ты [_{VP} [_{V2}] на работу].

In American Russian, gapping was not attested; no gapping occurs in the following naturally elicited examples:

American Russian:

- (87) Моя сестра она учит *business*, и я учу *pre-med*.
(88) Моя бабушка и дедушка поехал в *Israel*, все мы поехал сюда.

The next example involves code-switching on the predicate; despite the fact that the predicates are in English, the speaker fails to delete the predicate on the second occurrence:

American Russian:

- (89) Моя мама *goes mad*, если я *stay over* с *Sharon*, мой отец он *goes mad*, если мои друзья у меня дома.

Again, it seems that the loss of gapping can be explained by increasing redundancy of expression which is supposed to facilitate processing.

4. Discourse phenomena. Elicitation of narrative texts in American Russian is extremely difficult, given the lack of the vocabulary, frequent pausing, and the tendency to switch codes. All these difficulties notwithstanding, the elicited segments that are larger than a sentence reflect the same tendencies that were just described for sentential syntax; namely, the absence of gapping and null copying is also observed for segments larger than a sentence. Another interesting tendency that characterizes the structure of American Russian texts is the recapitulation of the final clause of the preceding sentence before introducing new information. This type of repetition is known as the tail-head linkage [Grimes 1975: 316; Reesink 1990: 301]. For example (tail-head segments are given in bold-face):

American Russian:

- (90) Этот мальчик_i тогда убежал # он_i убежал, и вот этот *policeman*_j он_j у мальчика_i дома, # он_j у него_i дома, и там у него_i дома *policeman*_j он_j стал как его_i те *foster parents*_k, # вот / там *foster parents*_k больше нет # их_k нет, они_k мертвые, # они_k умерли, / потому что *policeman*_j он_j убил эти *foster parents*_k.

The tail-head linkage, illustrated by (90), seems to be another manifestation of the redundancy mechanisms which were discussed earlier in relation to the clausal and sentential syntax.

Another feature of American Russian that becomes more apparent in texts than in isolated sentences is the frequency of demonstrative pronouns modifying nominals. Thus, in (90), we find *этом policeman* 'this policeman'; *эти / те foster parents* 'these / those foster parents'. Such use of demonstratives, which would be excessive in Full Russian, has a two-fold explanation. First, it may be a result of the tendency to avoid ambiguity: demonstratives provide clearer referential instruction, and, therefore, assist the hearer in reference tracking and easier processing of the segment. Second, demonstratives in American Russian may compensate for the absence of the definite article; thus, the frequency of demonstratives would be directly related to the interference of English. (Whether the latter is a valid explanation can be tested by comparing the use of demonstratives in the speech of those whose primary and secondary language do not differ in the article system and also by studying the use of demonstratives in the speech of English learners of Russian as a second language.)

As for the redundancy mechanism, some parallels of this phenomenon are observed in the use of lexical items. In particular, there is a tendency towards repetition of certain adverbs, for example:

American Russian:

- (91) Плохо плохо он ведет.
(92) Молоканские песни — это очень очень прекрасно. [Apresjan 1993: 5]

This redundancy at the level of lexical items is probably motivated by several related factors, namely, semantic vagueness of each individual word, which calls for «extra support» coming from additional lexical items, and the need to express each notion most explicitly, to facilitate processing on the part of the hearer.

III. Correlation between lexical and structural attrition

Above, the evaluation of the speakers' proficiency was based on purely lexical data. It does not necessarily follow that lexical change should be connected to structural change; in theory, the two may be unrelated. However, several grammatical changes discussed above were more apparent in the speech of those subjects whose proficiency was lower. The goal of this section is to test whether the loss of grammar and the loss of vocabulary are related.

To test this possible correlation, eleven structural variables were chosen, summarized in Table 3⁶. The percentage of occurrences consistent with the grammar of Full Russian was calculated within each variable for each of the eighteen speakers. These percentages were taken as the measure of grammatical competence. For each individual speaker, these percentages were then compared with the speaker's proficiency score.

Table 3. STRUCTURAL VARIABLES DIFFERENTIATING FULL RUSSIAN AND AMERICAN RUSSIAN

Variable	Full Russian	American Russian
case of the predicative nominal	instr. (nom.)	nom.
case governed by prepositions	other than nom.	nom.
possessive construction	<i>y</i> -phrase + <i>be</i>	<i>have</i> clause
case of the nominal in existential negative clause (<i>нет</i>)	gen.	nom.
case encoding the recipient / addressee	dat.	acc.
reflexive verbs	with <i>-ся</i>	without <i>-ся</i>
conditional	yes	no
use of the correct aspectual form	yes	no
subject-verb agreement	yes	no
resumptive pronoun	no	yes
null copy under coreference	yes	no

Where possible, fifty tokens of each variable were transcribed for each speaker. The variables for which fifty tokens were available are represented in Table 4. In the two left columns of the table, abbreviated names of speakers and their proficiency ranges are given, taken from Table 2; the

speakers are listed in order of descending proficiency. In the following columns, which represent variables, the occurrence of the Full Russian feature is given, in percentage points, for each speaker within each of the four variables. Thus, 20 per cent indicated for speaker Le. in the column «absence of resumptive pronoun» means that she avoided a resumptive pronoun, consistent with the grammar of Full Russian, in 10 sentences out of 50 (conversely, she used a resumptive pronoun, in accordance with the grammar of American Russian, in the other 40 sentences).

As the results in Table 4 indicate, high percentages of Full Russian grammatical features (prepositionally governed obliques, correct choice of aspect, subject-verb agreement, and the absence of a resumptive pronoun) are directly related to higher proficiency scores. In other words, speakers with higher proficiency show less deviation from the structural features of Full Russian, and low proficiency speakers demonstrate greater structural deviation from Full Russian. This correlation is not bound to one variable but reiterates across the four variables in Table 4.

Table 5 lists those variables for which the number of tokens obtained from an individual speaker was less than 50; in such cases, the available number of tokens (for each speaker) was transcribed. For example: speaker Sv. produced 26 tokens where conditional had to be used. Of these 26 cases, Sv. failed to use the conditional form with the particle *бы* in 23 cases and used it in 3 cases. The speaker's percentage of the correct use of conditional, i. e. the use conforming to Full Russian, was 12 per cent.

The results presented in Table 5 also confirm the correlation between the lexical and structural loss: speakers with higher proficiency have a higher percentage of Full Russian structural features than low proficiency speakers.

Table 4. CORRELATIONS BETWEEN LEXICAL PROFICIENCY AND STRUCTURAL COMPETENCE: percentage of the Full Russian structural pattern (number of tokens for each speaker within each variable – 50)

Speaker	Proficiency	Preposition-governed oblique	Correct choice of aspect	Subject-verb agreement	Absence of resumptive pronoun ¹
Le.	90.5	24%	52%	66%	20%
N.	90	30%	56%	70%	18%

Table 4 (end).

Speaker	Proficiency	Preposition-governed oblique	Correct choice of aspect	Subject-verb agreement	Absence of resumptive pronoun ¹
Ko.	90	34%	34%	72%	32%
Zh.	89.5	20%	40%	84%	24%
E.	89	20%	38%	68%	30%
K.	88.5	18%	32%	74%	36%
S.	88.5	10%	40%	66%	28%
I.	88.5	22%	44%	68%	18%
M.	88.5	14%	26%	72%	22%
B.	86.5	12%	20%	60%	20%
P.	86	8%	24%	64%	10%
L.	84.5	16%	22%	56%	16%
Z.	84	10%	26%	50%	14%
G.	82	10%	28%	54%	10%
Na.	77	0%	12%	30%	12%
A.	77	4%	16%	36%	16%
Sv.	75	0%	18%	42%	16%
Ma.	74	0%	10%	32%	12%

¹ 3rd person subject only.

Table 5 (beg.). CORRELATIONS BETWEEN LEXICAL PROFICIENCY AND STRUCTURAL COMPETENCE: percentage of the Full Russian structural pattern for tokens under 50¹

Speaker	Proficiency	Predicative nominal in instr.	y-phrase in possessive construction	Gen. of negation in existentials	Dat. of recipient/addressee	Reflexive verb in -ся ¹¹	Conditional with <i>бы</i>	Null copying under coreference
Le.	90.5	25% (4/16)	29% (5/17)	30% (6/20)	37% (17/46)	64% (25/39)	47% (7/15)	21% (14/66)
N.	90	30% (3/10)	30% (12/40)	56% (9/15)	55% (11/20)	74% (40/54)	41% (9/22)	24% (17/70)

Table 5 (cont.).

Speaker	Proficiency	Predicative nominal in instr.	y-phrase in possessive construction	Gen. of negation in existentials	Dat. of recipient/addressee	Reflexive verb in -ся ¹¹	Conditional with <i>бы</i>	Null copying under coreference
Ko.	90	33% (6/18)	25% (8/32)	50% (3/6)	33% (8/24)	89% (55/62)	37% (7/19)	28% (11/39)
Zh.	89.5	20% (2/10)	30% (3/10)	39% (7/18)	31% (11/36)	88% (36/41)	37% (11/30)	33% (13/39)
E.	89	20% (1/5)	28% (5/18)	64% (9/14)	22% (2/9)	82% (60/73)	56% (9/16)	37% (10/27)
K.	88.5	17% (2/12)	18% (4/22)	40% (4/10)	41% (13/32)	72% (36/50)	36% (5/14)	36% (15/42)
S.	88.5	10% (2/20)	14% (2/14)	64% (7/11)	20% (4/20)	85% (28/33)	32% (7/22)	35% (18/52)
I.	88.5	21% (3/14)	17% (3/18)	33% (4/12)	33% (18/55)	65% (20/31)	36% (4/11)	39% (11/28)
M.	88.5	14% (3/22)	28% (7/25)	43% (6/14)	27% (7/26)	54% (13/24)	33% (6/18)	29% (17/58)
B.	86.5	13% (1/8)	16% (3/19)	42% (8/19)	29% (9/31)	50% (14/28)	28% (11/40)	27% (11/41)
P.	86	8% (1/12)	22% (2/9)	40% (2/5)	28% (5/18)	55% (22/40)	20% (3/15)	26% (5/19)
L.	84.5	15% (3/20)	33% (4/12)	46% (11/24)	18% (8/44)	36% (16/45)	23% (5/22)	9% (2/23)
Z.	84	9% (1/11)	11% (2/18)	20% (2/10)	16% (5/31)	48% (24/50)	13% (1/8)	23% (9/40)
G.	82	10% (2/20)	7% (1/14)	13% (1/8)	22% (6/27)	36% (13/36)	19% (3/16)	11% (3/27)
Na.	77	0% (0/6)	14% (3/22)	10% (1/10)	6% (1/16)	21% (5/24)	10% (1/10)	13% (2/15)
A.	77	4% (1/24)	10% (1/10)	0% (0/6)	14% (3/22)	28% (11/40)	11% (2/18)	15% (4/26)
Sv.	75	0% (0/11)	0% (0/14)	9% (1/11)	6% (1/18)	16% (5/31)	12% (3/26)	6% (1/18)

Table 5 (end).

Speaker	Proficiency	Predicative nominal in instr.	y-phrases in possessive construction	Gen. of negation in existentials	Dat. of recipient/addressee	Reflexive verb in -ся ¹¹	Conditional with <i>бы</i>	Null copying under coreference
Ma.	74	0% (0/10)	8% (1/12)	0% (0/8)	8% (2/25)	11% (2/18)	13% (5/15)	14% (3/21)

¹ First number – percentage, rounded off to integer; in parentheses, m/n – numbers of occurrences of the Full Russian pattern over the total number of tokens elicited from an individual speaker.

¹¹ Only verbs having non-reflexive counterpart(s) were counted.

The statistical results, therefore, confirm a positive correlation between the proficiency level, established on a lexical basis, and more general language competence as reflected by structural features. Of the structural variables introduced above, the most relevant ones seem to be syntactic variables, the loss of prepositional case forms, and the loss of dative. It is these variables that most clearly distinguish speakers with different proficiency levels.

The correlation between lexical and structural features, demonstrated by the data in Tables 4 and 5, points to two important conclusions.

First, since attrition in the lexicon and structural attrition are related, the basic vocabulary technique, proposed above as a method of rough approximation, is relevant for the general assessment of language competence. In other words, lexical proficiency can serve as a representation of structural knowledge and overall competence in a given language. Accordingly, the proficiency assessment method proposed above allows us to obtain a preliminary idea of the speaker's general status with regard to language competence. This seems to be a very important finding, which must certainly be tested against the material of other reduced languages. Some preliminary results obtained from semi-speakers of Polish, Kabardian, Tamil [Polinsky 1993, 1994] confirm the correlation between lexical and structural attrition.

Next, since lexical attrition corresponds to structural attrition, lexical proficiency scores can serve as a basis for the characterization and ranking of semi-speaker in terms of a continuum model. Such a model,

which can be patterned on synchronic creole continuum models [DeCamp 1971; Bickerton 1973; Rickford 1987], will distinguish between acrolectal, mesolectal, and basilectal varieties of a reduced language. In the case of language attrition, acrolectal speakers are those whose language system is least removed from the respective full language. At the other extreme, basilectal speakers demonstrate greatest deviation from the full language. The intermediate varieties are then characterized as mesolectal.

Within these three groups of speakers, there is some variation in percentages obtained for individual speakers. Most conspicuously, individual speakers may have very high or very low percentages by some variables but score consistently within their group by the majority of other variables. Thus, speaker I. differs from the rest of his group by an unusually high percentage of the predicative instrumental (at 21.4 per cent, see Table 5); otherwise, I.'s percentages agree with those of the rest of the group. Speaker P., whose scores are fairly low, stands out in the use of the correct possessive construction (at 22.2 per cent, Table 5). Assuming that the number of tokens is not too small to hinder the statistics, it can be suggested that the speakers within a lect may still differ. The relevant fact, however, is that differences between speakers within a lect are less significant than the differences across lects. This is particularly evident in the case of speakers with lowest proficiency, whose scores within each variable drop significantly compared to the rest of the pool.

If we correlate the data on the structural variables with the proficiency scores, American Russian speakers with proficiency scores 88+ can be identified as acrolectal speakers. Basilectal American Russian speakers are characterized by lowest proficiency scores, in this case 74–82. The mesolectal group includes speakers with proficiency scores between 82 and 88. One of the speakers, namely, G., whose proficiency score is 82, seems to occupy an intermediary position between the basilectal speakers and mesolectal speakers. He resembles mesolectal speakers in his use of prepositionally governed obliques, use of aspectual forms, agreement, and use of the dative. Meanwhile, his use of the possessive construction and his low scores on the genitive of negation and null copying identify him with basilectal speakers.

The structural changes discussed above (and summarized in Table 3) are most prominent for basilectal speakers (speakers with higher attri-

tion). Of course, the specific numerical scores might change if more informants are studied and people with scores lower than 70 are found (see above on the gap between scores of 30, which corresponded to total loss of Russian, and 74, the lowest score in this study).

Based on such a score breakdown, the individual idiolects studied here can be represented as elements of the attrition continuum, as shown in (93) (the speakers are listed in Table 2 above).

(93) Attrition continuum. American Russian:

Basilectal speakers: 70–82 (Ma., Na., A., Sv.)

Mesolectal speakers: 82–88 (G., B., K., P., Z., L.)

Acrolectal speakers: 88–90+ (Ko., S., Zh., E., I., Le., M., N.)

Maintaining the continuum representation, it is possible to speak of these structural phenomena as tendencies that increase along the attrition continuum.

The attrition continuum model, as represented for American Russian, poses several further questions. First, as is evident from (93), acrolectal speakers are more numerous and basilectal speakers constitute a minority. For the specific case of American Russian, this can be explained by a variety of idiosyncratic factors: the speakers are sufficiently young, which helps them maintain better memories of their first language; though they have no access to the Full Russian speech community, they are exposed to Emigré Russian, spoken by their families.

Other questions that arise with regard to the attrition continuum concern the relationship between the acrolect and the full language: what is the borderline between the acrolect and the full language? Can the proposed numerical procedure be employed in distinguishing between the full language and such an acrolect? What structural and lexical variables are necessary and sufficient to distinguish between the two?

Going back to the data in Tables 4 and 5, it is clear that some structural features differ across lects in a more pronounced way than others. This greater variation may be interpreted in the following manner: these features are more indicative of language attrition than others, which vary less significantly. In light of this, the relevant question is whether it is necessary and possible to rank structural variables according to their diagnostic weight. It would be reasonable to develop a more general list of structural variables indicative of attrition such that structural variables determined by the internal grammar of an individual lan-

guage would follow from it⁷. Judging by the data presented above, the variables that are most sensitive to the degree of language attrition include all the syntactic variables and those morphological variables that are the direct outcome of paradigm levelling.

IV. Language loss and pidginization

As was just mentioned, there are certain structural variables that may be more sensitive to the lectal variation and to the overall degree of language attrition. Interestingly, some such features observed in American Russian find direct parallels in extended pidgins and early creoles. Pidgins and creoles typically do not have case paradigms, nor do they have developed verbal agreement; however, both of these features are also found in languages with a continuous tradition.

The situation with syntactic features is different; it seems that the heavy use of resumptive pronouns and the absence of null copying and gapping are quite unusual for languages with a continuous tradition; thus, one might establish unique syntactic similarities between American Russian and pidgins/creoles.

The goal of this section is to discuss syntactic similarities between American Russian and pidgins and creoles and to propose some tentative explanations for them.

1. **Clausal syntax: resumptive pronouns.** The issue of resumptive pronouns in pidgins and creoles has been discussed in great detail, primarily with regard to the Neo-Melanesian *i*, which in the literature is called either the predicate marker [Mühlhäusler 1985: 373–375; 1987; 1990] or the subject referencing pronoun [Keesing 1988]. For example, in Bislama [Crowley 1990: 240]:

(94) Maki hem *i* go long maket.

Maki 3SG RP go to market

'As for Maki, he went to the market'.

A very good summary of the Neo-Melanesian *i* development is given by T. Crowley [1990: 231–260]. Crowley and, earlier, Mühlhäusler [1987; 1990], have demonstrated that there have been changes in the status of *i* as it evolved in the early pidgins, stabilized in extended pidgins, and is possibly undergoing attrition in modern Tok Pisin. Based on their data, the following line of development may be suggested:

Stage 1. Early (restricted) pidgin: the null was much more frequent than *i*; the occurrences of *i* were sporadic and were probably determined by its function as the marker of topic change [Sankoff 1977].

Stage 2. Extended pidgin > semi-creole: *i* was used as a resumptive pronoun.

Stage 2b (unclear). Grammaticized *i* used as an agreement marker.

Stage 3 (currently in Tok Pisin). Post-creole, undergoing a gradual loss of *i* which is again less frequent than the null pronoun ($i < \emptyset$); as noted in a number of recent Tok Pisin studies, this tendency is particularly strong in nativized Tok Pisin [Mühlhäusler 1985: 375].

What is relevant for this study is that *i* functioned as a resumptive pronoun at the stage when Tok Pisin functioned as extended pidgin. The ongoing creolization of Tok Pisin seems to bring about a decline in the use of *i*.

The distribution of *i* in Neo-Melanesian and the distribution of resumptive pronouns in American Russian have both similarities and differences. First of all, American Russian, unlike Neo-Melanesian, did not develop a single resumptive pronoun for all persons: as the examples above indicate, all personal pronouns can be used in the resumptive function, and the choice of the pronoun is determined by the person and number of the subject. Apparently, Neo-Melanesian went through a similar stage when there was more than one resumptive pronoun; thus, for Bislama, *mi*, *yu*, *i* and *oli* [Crowley 1990: 231–233, 237].

Next, American Russian and Neo-Melanesian differ in that American Russian permits resumptive pronouns co-indexed with a non-subject if the non-subject nominal undergoes strong topicalization. For example:

American Russian:

(95) Это платье я стирала его с холодная вода.

Similarities in the distribution of the American Russian resumptive pronoun and the resumptive pronoun in Neo-Melanesian include:

use of the resumptive pronoun with both verbal and non-verbal predicates;

regular use of the resumptive pronoun co-indexed with the compound subject (in example (76) above, where the subject is *Дима и я* 'Dima and I');

use of the resumptive pronoun when the subject is separated from the predicate by intervening lexical material;

use of the resumptive pronoun when the subject undergoes strong topicalization;

more consistent use of the resumptive pronoun in the non-first clause under clause linkage (see also below on parallels between American Russian and pidgins in sentential syntax).

American Russian differs from Tok Pisin in that it does not have resumptive pronouns in imperatives (see [Mühlhäusler 1985: 374], on the retention of *i* in Tok Pisin imperatives) and seldom has resumptive pronouns after modals. The latter difference is based on the assumption that Tok Pisin modal structures, such as (96), are monoclausal; thus, (96) would be comparable to a monoclausal modal structure in American Russian, as in (66), repeated in (51) here⁸:

(96) Em i mas i go.

3SG RP must RP go

'He must go'. [Mühlhäusler 1985: 374].

American Russian:

(51) Мне надо готовить для *finals*.

Regular resumptive pronouns are also used in Hiri Motu, where they are still differentiated by number. Compare (97a), with the subject in the plural, and (97b), where the subject is in the singular:

(97a) Sisia idia diho.

dog 3PL go down

'The dogs went down'. [Dutton, Voorhoeve 1974: 15].

(97b) Kekeni ia tai.

girl 3SG cry

'The girl cried'. [Dutton, Voorhoeve 1974: 27].

The distribution of Hiri Motu subject pronouns is similar to that in Tok Pisin ([Dutton, Voorhoeve 1974]; see also [Dutton 1976: 52–54], on structural similarities between Tok Pisin and Hiri Motu). Though Hiri Motu seems to be losing ground to Tok Pisin, it functioned as an extended pidgin earlier, probably in the 1940–1960s [Holm 1989: 585], and its descriptions reflect this stage [Wurm, Harris 1963; Dutton, Voorhoeve 1974].

Several explanations have been proposed with respect to the origins of the resumptive pronoun in Neo-Melanesian. One of the popular ex-

planations is that the pronoun was initially conditioned by pragmatic (discourse) factors and then grammaticized as a predicate marker [Sankoff 1977]. This seems to be consistent with the fact that resumptive pronouns are obligatory under the dislocation or topicalization of the subject and under the focusing of other clause constituents (see, for example, [Crowley 1990: 240], on preposed focused components that require a resumptive pronoun). More generally, the rise in the use of the resumptive pronoun can be explained, as was suggested earlier, by the general increase in the redundancy of expression, which results from speakers' incomplete competence.

Interestingly, resumptive pronouns take some time to develop. There are no resumptive pronouns in early, restricted, pidgins; above, references were given for the early stages of Neo-Melanesian. Another example of a highly restricted pidgin is Japanese Pidgin English in Hawaii, described in [Nagara 1972]. This pidgin does not have any resumptive pronouns and is generally characterized by a strong tendency to omit both nominal and pronominal constituents [Nagara 1972: 182–183]. Similarly, there are no resumptive pronouns in Russenorsk, which is also a restricted pidgin [Broch, Jahr 1981; 1984].

2. Sentential syntax. In sentential syntax, American Russian resembles extended pidgins and early creoles in the avoidance of the null copy under coreference and in the absence of gapping.

The absence of the null copy under coreference attested in American Russian is also found in a number of extended pidgins and some creoles. This tendency was already mentioned in the preceding section in relation to Neo-Melanesian pidgins, where the resumptive pronoun rule is observed much more strictly in non-first clauses under clause linkage. For example, in Tok Pisin:

(98) Man i kam na em i sindaun.
man RP come and 3SG RP sit down.

'The man came and sat down'. [Mühlhäusler 1985: 399].

Similarly in Pitcairnese (99) and Jamaican Creole (100):

(99a) Ha: pəʔa:le ʌn # es kjutan, es wa'wan, es wohuwohu.
that small one RP:3SG shy RP:3SG well-dressed RP:3SG conceited

'That undersized one? She is shy, well dressed, all dolled up'. [Ross, Moverley 1964: 124].

(99b) Hem græmma bin ge? wan opili... ʌn dem bæŋ a tʌpa... olə dei.
those old women have got a pounder and they beat the tapa all day.
'Those old women had a pounder and they beat the cloth all day'.

[Ross, Moverley 1964: 134].

(99c) Ai filen siki / ai tʰu so / ai fiva.
I feel sick I too sore I fever.

'I am feeling sick, I am very ill, I have a cold'. [Ross, Moverley

1964: 121].

(100) Im faaldong an im brok im fut.
3SG fell and 3SG broke 3SG leg.

'He fell and broke his leg'. [Bailey 1966: 131].

The absence of the null copy recurs in pidgins and creoles based on languages other than English; thus, it is impossible to explain this feature by the influence of English. Thus:

Hiri Motu:

(101) Sisia idia diho — idia daekau tano dekenai, ma inai tauna diba
dog RP:3PL go down RP:3PL go up land POSTP and this man arrow
peva ia abia vadan ia lao dala dekena.
bow RP:3SG take all right RP:3SG go road POSTP.

'The dogs went down and up the land, and the man took his arrows and bow and also went his way along the track'. [Dutton, Voorhoeve 1974: 15].

Kristang:

(102) Japang ja rinta nus sa kaza, eli fala nus ta gadia ropianu na
Japanese TNS enter 1PL POSS house 3SG say 1PL T keep European in
rentu kaza, eli ngge konfia, eli ke chuchu ku beinat ku yo.
inside house 3SG NEG:want believe 3SG want stab PREP bayonet PREP 1SG.

'The Japanese entered the house and said that we were hiding a European; he did not believe us [that there were no Europeans in the house] and wanted to stab me with a bayonet'. [Baxter 1983: 149].

Other examples of preference of the pronominal anaphora over the null copy are found in Guadeloupan creole [Raleigh 1981: 92–93]; Nigerian Pidgin English [Barbag-Stoll 1983: 95]; Cameroonian Pidgin English [Schneider 1967: 114, 117, 118, 123, 137]; Kenya Pidgin Swahili [Heine 1973: 203–205].

Again, there seems to be an interesting parallel between a reduced language, which American Russian clearly is, and extended pidgins/early creoles: they all use resumptive pronouns and avoid null copying under coreference across clause. The tentative explanation for the avoidance of the null copy, again, resides in incomplete confidence in the grammar and the need to avoid potential ambiguity. As a result, redundancy mechanisms are established; the preference for more explicit coding is one such mechanism.

There seems to be at least one non-creole language the description of which mentions preference for avoiding null copying under coreference. This language is traditional Dyirbal, as described in [Dixon 1972: 71–73, 130, 133–134, 154]. According to Dixon, though coreferential reduction is allowed, it is not the preferable strategy under clause linkage. Compare the following Dyirbal example, where a full NP is repeated under coreference, and the English translation, where the null copy is used:

- (103) Bayi yara; baniNu bayi yara; bagu djugumbilgu balgaljanu.
the man came the man the woman hit.

'The man came here and Ø hit the woman'. [Dixon 1972: 130].

Traditional Dyirbal, just like pidgins, often retains a pronominal head in the imperatives [Dixon 1972: 111]. If the absence of the null copy under coreference is indicative of language attrition, the situation in Dyirbal as described by Dixon can be characterized as incipient attrition: the avoidance of the null copy is still an option rather than a regularity of the language.

In a study of Dyirbal done almost two decades later and based on data collected from younger speakers, attrition is much more prominent [Schmidt 1985]. Schmidt herself indicates that the language is nearing extinction and that most speakers in her sample are actually semi-speakers. In Young People's Dyirbal, the tendency to avoid null copying becomes even more prominent, for example:

- (104) Ban mugiyam yanun jayil-gu ban banaganyu next year.
she Name go jail-to she return.

'Lillian went to jail, she will return next year'. [Schmidt 1985: 239].

Pronominal copying is not limited to clause co-ordination; it also occurs under embedding:

- (105) Guyhgun banaga-nyu ban wawu-lay-gu
female ghost return-NON-FUT she fetch-ANTIPASSIVE-PURPOSE
guyi-gu.

male ghost-DAT.

'The female ghost returned in order to fetch the male ghost'. [Schmidt 1985: 114].

Young People's Dyirbal has some occurrences of resumptive pronouns, as in the following example:

- (106) Ginyan one girl Phyllis ginyan ban-ban lilbit birabin gen.
she-here she-here she-she a little bit scared also.
'Phyllis here was a bit scared too'. [Schmidt 1985: 149].

The absence of gapping in American Russian also finds parallels in pidgins and creoles: the avoidance of gapping by extended pidgins and creoles has been noted by a number of authors, starting with Robert Hall [1966]. For example, in Jamaican creole:

- (107) Jan gaan a maakit an Mieri *(gaan) a shap.
John went to market and Mary went to shop.

'John went to the market and Mary, to a store'. [Bailey 1966: 131].

Again, the reasons for avoiding gapping are similar under language loss and under pidginization: the speaker lacks confidence in his or her own competence and tries to avoid ambiguity of expression.

3. **Discourse phenomena.** Tail-head linkage has been found in several regional varieties of Tok Pisin, for example:

- (108) Mi bihainim rot i go # mi go long rot na mi...
I follow path PROGRESSIVE I go on path and I.

'I went on the road. I went on the road and I...' [Reesink 1990: 301].

In the cited paper, Reesink explains Tok Pisin tail-head linkage by substrate influence [Reesink 1990: 300–302]. However, the fact that similar linkage is found in a reduced language like American Russian (compare example (90) above) may indicate that reasons other than substrate are involved here.

To summarize, reduced languages and extended pidgins/early creoles share a general syntactic tendency to reduce less language material than do full and non-creolized languages. This redundancy is consistently observed in the syntax of the clause, sentence, and discourse.

If the correspondences between American Russian and pidgins are not accidental, they can have a bearing on the study of pidgins and creoles themselves; for instance, the development of resumptive pronouns and pronominal copying across clause can serve as a sign of pidgin extension. A subsequent replacement of these pronominal elements by the null copy, occurring against a more general background of language expansion may, in turn, be indicative of creolization and post-creolization. This seems logical in view of the fact that the expansion of language functions allows speakers to produce more diverse and lengthier texts, and therefore, contributes to the emergence of grammar and syntax beyond the clause. Data from full languages with continuous traditions indicate that such syntax invariably includes sophisticated strategies of information compression; null copying and gapping are particular cases of such compression techniques.

Another corollary of the correspondences between a reduced language and an extended pidgin has to do with the relationship between universal tendencies and substrate influence in pidgins and creoles. For instance, tail-head linkage in Tok Pisin has been explained as a result of substrate influence. However, the occurrence of a similar phenomenon in a language which is not, by its origins, a pidgin, may indicate a more universal tendency of spoken language.

Of course, the correspondences established here are just preliminary. Whether or not they are typologically valid, can be verified by three basic research strategies: first, including more reduced languages, preferably with different degrees of attrition; second, introducing more structural parameters (in particular, embedding, Wh-Movement, relativization, word order); third, examining ordinary conversation and building corpora of continua, rather than relying exclusively on native speaker intuitions (especially in highly literate societies).

Conclusion

This paper examined American Russian, a reduced variety of Russian, spoken by immigrants many of whom learned Russian as their first language but then switched to English as their primary language. American Russian is characterized by profound structural changes, brought about by the fact that speakers no longer maintain Russian as their primary language. A stable correlation between the level of lexical attrition in the

language and the level of structural (morphological and syntactic) loss is found. This finding allows us to propose a compact method for assessing language attrition; the method, based on a simple lexico-statistical procedure, proves adequate as a more general linguistic tool of evaluating language competence.

In studies of language attrition, a distinction is made between externally and internally induced changes in the grammar [Seliger, Vago 1991: 6–10]. Externally induced changes are explained by the direct influence of the interfering language, while internally induced changes are motivated by universal principles or by the internal grammar of the language undergoing attrition.

Externally induced changes certainly play an important role in American Russian, but their primary domain is the lexicon; throughout this paper, we have shown that American Russian structural properties cannot be fully explained by the influence of English. Similarly, structural changes observed in American Russian cannot be explained as a reflection of tendencies characteristic of Full Russian. Rather, these changes derive from restricted language competence, which leads to the levelling of paradigms, increased analyticism, and increased redundancy in morphology and syntax.

The syntactic redundancy demonstrated for American Russian is paralleled by similar tendencies in extended pidgins and early creoles, which points to a more general correspondence between language loss and pidginization. It can be suggested that reduced language competence, whatever its social circumstances are, results in redundancy rules as a way of restricting potential ambiguity of linguistic expressions.

The material of American Russian proves that a reduced language is indeed structurally different from the respective full language. Language attrition is indicated by a series of structural features. If we ignore features internal to the grammar of Russian, the following structural properties are indicative of language attrition: loss of case distinctions; loss of verbal agreement; elimination of the conditional; loss or simplification of reflexivization rules; development of resumptive pronouns; loss of null copying under clause linkage; increased redundancy in discourse. Some parallels between reduced Russian and languages with the discontinuous tradition are already clear but it would be important to study other reduced languages in order to test the diagnostic properties proposed in this paper.

Notes

¹ As this explanation of terms shows, the major focus in the study of attrition is on the resulting situation rather than the process itself. The process of language decay or loss is also sometimes called *attrition*; another common term is *obsolescence* [Dorian 1989].

² Benson, who interviewed both «old» and «new» immigrants, mentions «marked differences in the extent of English linguistic penetration among the various speakers» [Benson 1960: 163].

³ A large number of speakers were extremely reluctant to work with the investigator and objected even to the use of their first names; thus, here and elsewhere, speakers are referred to by their first name initial.

⁴ There are other reasons for pausing, as well: speakers of American Russian lack linguistic confidence and probably assume that other speakers are like them. To ensure better understanding, they try to maintain a slower tempo of speech. This is confirmed by the fact that pauses occur even in numerical expressions, between the preposition and the numeral, as in (i). Given that numerals are retained well, it is extremely unlikely that the speaker pauses to recall the numeral.

American Russian:

(i) И мы поехать в # три машины

⁵ This correlation may explain why resumptive pronouns are typically co-indexed with subject NP's; their co-indexation with non-subjects is confined to those cases where the non-subject is a topic [Polinsky 1995].

⁶ Some of the structural variables discussed above were left out, for instance, tail-head linkage. The reason is that such a phenomenon is more difficult to compare with the respective structures of Full Russian; under certain stylistic conditions, for example in a folksy narrative, Full Russian would also allow tail-head linkage effects. Some subtler distinctions, for example, the contrast between the genitive and the accusative in the declarative (e.g., after such verbs as *бояться* 'to be afraid'), were left out as well, because Full Russian speakers, too, show variation in the use of these forms. The absence of gapping was not included in the list of variables because of its general low frequency.

⁷ It seems that those variables whose diagnostic value is less significant also show more variation in the full language; with regard to Russian, one such variable is the use of the lexically governed genitive and genitive of negation, which is diminishing in Full Russian as well.

⁸ American Russian often expresses modal meanings by biclausal structures, with the modal matrix verb, as in (ii). In such structures, the embedded verb has a pronoun, which can be explained by the reference tracking strategies of American Russian (see (84) above).

American Russian:

(ii) Я хочу, что я жить с *rommate*, но только без мои родители.

It is possible that monoclausal modals in Tok Pisin developed from biclausal structures as well; however, a synchronic comparison of (97) and (ii) would be unjustified.

Abbreviations

ACC – Accusative; COND – Conditional; DAT – Dative; DIM – Diminutive; DM – Discourse marker; FEM – Feminine; FUT – Future; GEN – Genitive; IMPF – Imperfective; INC – Inceptive; INF – Infinitive; INSTR – Instrumental; MASC – Masculine; NOM – Nominative; PERF – perfective; POSTP – Postposition; PREP – Preposition; PRES – Present; PRP – Prepositional (case); PRT – Particle; REFL – Reflexive; RP – Resumptive pronoun.

References

- Academy Grammar I – Russkaja grammatika. – Tom I. Moscow, 1982
- Andrews 1990 – Andrews D. A semantic categorization of some borrowings from English in Third-Wave Emigre Russian // M. H. Mills (ed.). Topics in colloquial Russian. – New York, 1990.
- Andrews 1993a – Andrews D. American-Immigrant Russian: Socio-cultural perspectives on borrowings from English in the language of the Third Wave // Language Quarterly. – 31. 3/4. – 1993.
- Andrews 1993b – Andrews D. American Intonational Interference in Emigre Russian: A Comparative Analysis of Elicited Speech Samples // Slavic and East European Journal. – 37. – 1993.
- Andrews 1994 – Andrews D. The Russian color categories *синий* and *голубой*: An experimental analysis of their interpretation in the standard and emigre languages // Journal of Slavic linguistics. – 2. – 1994.
- Apresjan 1993 – Apresjan V. Linguistic Processes Associated with Language Loss. – Ms., 1993.
- Babby 1980 – Babby L. Existential sentences and negation in Russian. – Ann Arbor, 1980.
- Babby 1984 – Babby L. Prepositional quantifiers and the Direct Case Condition in Russian // In M. Flier, R. Brecht (eds.). Issues in Russian Morphosyntax. – Columbus, 1984.
- Bailey 1966 – Bailey B. Jamaican Creole syntax. – Cambridge, 1966.
- Barbag-Stoll 1983 – Barbag-Stoll A. Social and linguistic history of Nigerian Pidgin English. – Tübingen, 1983.
- Baxter 1983 – Baxter A. Creole universals and Kristang (Malacca Creole Portuguese) // Papers in Pidgin and Creole linguistics. – 3. – 1983.
- Belikov 1987 – Belikov V. Lexičeskie zameny v kreol'skix jazykax: analiz stoslovnogo spiska // I. Vardul', V. Belikov (eds.). Vozniknovenie i funkcionirovanie kontaktnyx jazykov. – Moscow, 1987.
- Benson 1957 – Benson M. American influence on the immigrant Russian press // American Speech. – 32. – 1957.
- Benson 1960 – Benson M. American-Russian speech // American Speech. – 35. – 1960.

- Bickerton 1973 – Bickerton D. On the nature of a creole continuum // *Language*. 49. – 1973.
- Broch, Jahr 1981 – Broch I., Jahr E. *Russenorsk*. – Oslo, 1981.
- Broch, Jahr 1984 – Broch I., Jahr E. *Russenorsk: A new look at the Russo-Norwegian Pidgin in northern Norway* // P. S. Ureland, I. Clarkson (eds.). *Scandinavian Language Contacts*. – Cambridge, 1984.
- Bulygina 1982 – Bulygina T. K postroeniju tipologii predikatov v russkom jazyke // *Semantičeskie tipy predikatov*. – Moscow, 1982.
- Campbell, Muntzel 1989 – Campbell L., Muntzel M. The structural consequences of language death // [Dorian 1989].
- Chvany 1975 – Chvany C. On the syntax of Be-sentences in Russian. – Cambridge, 1975.
- Comrie 1976 – Comrie B. *Aspect: An introduction to the study of verbal aspect*. – Cambridge, 1976.
- Comrie to appear – Comrie B. (to appear). *Coreference*. – London.
- Crowley 1990 – Crowley T. *Beach-la-Mar to Bislama*. – Oxford, 1990.
- DeCamp 1971 – DeCamp D. Toward a generative analysis of a part-creole continuum // D. Hymes (ed.). *Pidginization and creolization of languages*. – Cambridge, 1971.
- Dixon 1972 – Dixon R.M.W. *The Dyirbal language of North Queensland*. – Cambridge, 1972.
- Dorian 1989 – Dorian N. (ed.). *Investigating obsolescence. Studies in language contraction and death*. – Cambridge, 1989.
- Dutton 1976 – Dutton T. Review of «The Dictionary and Grammar of Hiri Motu» (Port Moresby, 1976) // *Kivung*. – 9. – 1976.
- Dutton, Voorhoeve 1974 – Dutton T.E., Voorhoeve C.L. *Beginning Hiri Motu*. – Canberra, 1974.
- Foley, Van Valin 1984 – Foley W., Van Valin R. *Functional grammar and universal syntax*. – Cambridge, 1984.
- Forsyth 1970 – Forsyth J. *A grammar of aspect: Usage and meaning in the Russian verb*. – Cambridge, 1970.
- Galperin 1977 – Galperin I.R. (ed.). *New English-Russian dictionary*. – Moscow, 1977.
- Givon 1983 – Givon T. (ed.). *Topic continuity in discourse: a quantitative cross-language study*. – Amsterdam–Philadelphia, 1983.
- Gonzo, Saltarelli 1983 – Gonzo S., Saltarelli M. *Pidginization and linguistic change in emigrant languages* // R. Anderson (ed.). *Pidginization and creolization as language acquisition*. – Rowley–London–Tokyo, 1983.
- Grimes 1975 – Grimes J.E. *The thread of discourse*. – The Hague, 1975.
- Haegeman 1991 – Haegeman L. *Introduction to Government and Binding Theory*. – Oxford, 1991.
- Hall 1966 – Hall R. *Pidgin and Creole languages*. – Ithaca, 1966.
- Hasselmo 1974 – Hasselmo N. *Amerikasvenska* // *Skrifter utgivna av Nämnden för svenskspråkvård*. – 51. – Stockholm, 1974.

- Heine 1973 – Heine B. *Pidgin-Sprachen im Bantu-Bereich*. – Berlin, 1973.
- Holm 1989 – Holm J. *Pidgins and creoles. Vol. II. Reference survey*. – Cambridge, 1989.
- Keenan 1993 – Keenan E.L. *VP Nominative languages: Malagasy and other W. Malayo-Polynesian languages*. – Ms., 1993.
- Keesing 1988 – Keesing R. *Melanesian Pidgin and the Oceanic substrate*. Stanford, 1988.
- Li 1976 – Li C.N. (ed.). *Subject and Topic*. – New York, 1976.
- Mel'čuk 1985 – Mel'čuk I. *Poverxnostnyj sintaksis russkix čislovyx vyraženij* // *Wiener slawistischer Almanach*. – 16. – Wien, 1985.
- Menn 1989 – Menn L. Some people who don't talk right: Universal and particular in child language, aphasia, and language obsolescence // [Dorian 1989].
- Mühlhäusler 1985 – Mühlhäusler P. *Syntax of Tok Pisin* // S. A. Wurm, P. Mühlhäusler (eds.). *Handbook of Tok Pisin (New Guinea Pidgin)*. – Canberra, 1985.
- Mühlhäusler 1986 – Mühlhäusler P. *Pidgin and creole linguistics*. – London, 1986.
- Mühlhäusler 1987 – Mühlhäusler P. *Tracing predicate markers in Pacific Pidgin English* // *English Worldwide*. – 8. – 1987.
- Mühlhäusler 1990 – Mühlhäusler P. On the origins of the predicate marker in Tok Pisin // J. Verhaar (ed.). *Melanesian Pidgin and Tok Pisin*. – Amsterdam, 1990.
- Mustajoki 1985 – Mustajoki A. *Padež dopolnenija v russkix otricatel'nyx predloženijax 1: Izyaskanija novyx metodov v izučenii staroj problemy*. – Helsinki, 1985.
- Nagara 1972 – Nagara S. *Japanese Pidgin English in Hawaii: A bilingual description*. – Honolulu, 1972.
- Neidle 1988 – Neidle C. *The role of case in Russian syntax*. – Dordrecht, 1988.
- Padučeva 1985 – Padučeva E.V. *Vyskazyvanie i ego sootnesennost' s dejstvitel'nostju*. – Moscow, 1985.
- Pesetsky 1982 – Pesetsky D. *Paths and Categories*. Ph. D. – Dissertation. – 1982.
- Polinsky 1993 – Polinsky M. *Language attrition and pidgin/creole syntax* // Paper presented at the Annual Meeting of the Linguistic Society of America. – Los Angeles, January 1993.
- Polinsky 1994 – Polinsky M. *Structural dimensions of first language loss* // Chicago Linguistic Society. – 30th Regional Meeting. Parasession on Variation. – 1994.
- Polinsky 1995 – Polinsky M. *Russian in the US: An endangered language* // E. Golovko (ed.). *Russian in contact with other languages*. – Oxford, 1995.
- Raleigh 1981 – Raleigh M. *Guadeloupan Creole pronouns: A study of expansion in morphosyntactic structure* // A. Highfield, A. Valdman (eds.). *Historicity and variation in creole studies*. – Ann Arbor, 1981.
- Rappaport 1984 – Rappaport G. *Grammatical function and syntactic structure: The adverbial participle of Russian*. – Columbus, 1984.
- Reesink 1990 – Reesink G.P. *Mother tongue and Tok Pisin* // J. Verhaar (ed.). *Melanesian Pidgin and Tok Pisin*. – Amsterdam, 1990.
- Rickford 1987 – Rickford J.R. *Dimensions of a creole continuum*. – Stanford, 1987.

- Ross, Moverley 1964 – Ross A., Moverley A.W. The Pitcairnese language. – London, 1964.
- Sankoff 1977 – Sankoff G. Variability and explanation in language and culture // M. Saville-Troike (ed.). Linguistics and anthropology. – Washington, 1977.
- Schmidt 1985 – Schmidt A. Young People's Dyirbal: An example of language death from Australia. – Cambridge, 1985.
- Schneider 1967 – Schneider G.D. West-African Pidgin-English: A descriptive linguistic analysis with texts and glossary from the Cameroon area. – Athens, 1967.
- Seliger, Vago 1991 – Seliger H.W., Vago R.M. The study of first language attrition: an overview // H. W. Seliger, R. M. Vago (eds.). First Language attrition. – Cambridge, 1991.
- Turian, Altenberg 1991 – Turian D., Altenberg E.P. Compensatory strategies of child first language attrition // H. W. Seliger, R. M. Vago (eds.). First Language attrition. – Cambridge, 1991.
- Vendler 1967 – Vendler Z. Linguistics and philosophy. – Ithaca, 1967.
- Wells 1932 – Wells H.B. The Russian Language in the United States // American Mercury. – 25. – 1932.
- Wurm 1991 – Wurm S. Language death and disappearance: Causes and circumstances // R. H. Robins, E. M. Uhlenbeck (eds.). Endangered Languages. – Oxford–New York, 1991.
- Wurm, Harris 1963 – Wurm S., Harris J.H. Police Motu: An introduction to the trade language of Papua New Guinea. – Canberra, 1963.
- Zemskaja 1973 – Zemskaja E.A. (ed.). Russkaja razgovornaja reč'. – Moscow, 1973.
- Zemskaja 1981 – Zemskaja E.A. (ed.). Russkaja razgovornaja reč'. Obščie voprosy. Slovoobrazovanie. Sintaksis. – Moscow, 1981.

P. Rastall

П. Расталл

Communication strategies and
the morphology-syntax distinction

Коммуникативные стратегии и
различия между морфологией синтаксисом

Writing in the «Sunday Times» recently, Andrew Neil (the editor) described the «sheer dropping-down-dead-ness of style» of a certain politician. The expression *dropping-down-dead-ness* shows plainly that the sign *-ness*, which we normally and traditionally think of as a noun-forming suffix referring to a property or state in morphological complexes such as *illness*, *redness*, *aloofness*, etc., can be in construction with **syntactic** complexes to form unusual and syntactically complex nominals naming properties or states. The structure in question could be represented (with arrows pointing towards the grammatical nuclei, following [Mulder 1989]) as (((*dropping* ← *down*) ← *dead*) ← *ness*).

Quirk et. al. in their Comprehensive Grammar of the English Language [1985] mention the same phenomenon as an aspect of «word-formation». They state that «items in common premodifying or predicative use can (...) take the suffix [-ness]» (p. 1581), and give the examples *up-to-date-ness*, *stick-with-it-ness*, *down-to-earth(i)ness*. The sign *stick-at-it-ive-ness* has also recently appeared in the «Sunday Times». Here we have complex deverbal nominal groups, verbal structures and preposition phrases combined with *-ness* to form complex nominals.

Other examples of the same phenomenon are *her bad-tempered-ness* (i.e. ((*bad* → *tempered*) ← *ness*)), *his calm-and-collectedness of manner* (i.e. ((*calm* ← (*and* ← *collected*)) ← *ness*)), *the up-and-down-ness of life* (i.e. ((*up* ← (*and* ← *down*)) ← *ness*)), *the hot-and-humid-ness of the atmosphere* (i.e. ((*hot* ← (*and* ← *humid*) ← *ness*)), *the pea-soupy-ness of the smell* (i.e. (((*pea* → *soupy*) ← *y*) ← *ness*), etc.

The sign *-er* (possibly followed by the plural) is also regularly found in construction with syntactic complexes as in *baby-boomer*, *part-timer*, *weekender*, *fast-asleeper(s)*, *wide-awaker(s)*, *twenty-four weeker(s)* («courses lasting twenty four weeks») and *kill-the-rich-ers*. Those signs can be analysed respectively as ((*baby* → *boom*) ← *er*), ((*part* → *time*) ← *er*), ((*week* → *end*) ← *er*), ((*fast* → *asleep*) ← *er*), ((*wide* → *awake*) ← *er*), ((*twenty four* → *week*) ← *er*), (*kill* ← ((*the* → *rich*) ← *er*)) representing the structures ((*prenominal* → *noun*) ← *er*), ((*adverb* → *adjective*) ← *er*), ((*numeral* → *noun*) ← *er*) and (*imperative verb* ← ((*article* → *adjectival noun*) ← *er*) where the latter structure functions as the direct object.

English speakers clearly have in *-ness* and *-er* strategies for the creation of complex nominal signs through combination with syntactic complexes. The signs in question, however, are traditionally treated as morphological suffixes involved in «word-formation». Examples such as the above raise, once again, the question of the morphology – syntax distinction and with it the question of our units of analysis and, in particular, the «word».

As A. Martinet [1975], among others, has pointed out, the «word» is merely a traditional term of convenience largely corresponding to orthographic conventions for western languages. In reviewing the criteria for the identification of «words», one finds that «tous les efforts pour donner au terme (mot) un statut proprement scientifique se heurtent au fait qu'à côté de cas sur lesquels on peut se prononcer sans hésitation, il y en a d'autres où aucun des critères utilisables ne nous permet de répondre par oui ou par non» (p. 51). However, as Martinet has also rightly pointed out, the linguist must be able to identify minimum *syntagmatic* units (i.e. those constituting single choices in the speech chain). Such units may be analytically simple (*man*, *dog*, etc.) or complex (*worker*, *consideration*, etc.) on the level of signs. Complex signs of that sort may be intuitively

left to be «ready made» units (often called «lexical units») which may be the result of processes which are not «fully productive» and which are not new combinations each time the speaker produces them. They thus constitute part of an inventory of signs. Martinet calls such units «synthèmes» to distinguish them from simple signs («monèmes») and «syntagmatic complexes («syntagms»). As he says, «nous proposons (...) de designer du terme **synthème** les unités linguistiques dont le comportement syntaxique est strictement identique à celui des monèmes avec lesquels ils commutent, mais qui peuvent être conçus comme formés d'éléments sémantiquement identifiables» [Martinet 1975: 187].

Martinet's criterion is necessary but not sufficient. Our judgements about what is a single choice for the speaker are merely intuitive. There is no clear way of deciding whether a given complex is a syntagm or a syntheme. One can see that simple signs such as *walk* in *we walk* commute with complexes such as *walked*, *were walking*, *have walked* etc., but it is not clear how *walked* is distinguished from *were walking* or *have walked* as a syntheme rather than a syntagm because the signs in question all have the same syntactic behaviour as simple signs. Similarly, one can see that Martinet, and others, would wish to identify a sign such as *pre-adolescent* as a syntheme but a sign such as *quite adolescent* as a syntagm. Again both expressions commute in the same contexts and we have the problem that *pre-* clearly occurs in coordinations (which are normally viewed as syntactic) such as *pre- and post-* in *pre-and-post-adolescent* where there does appear to be «creativity». Martinet's rule of thumb that in associating the study of synthèmes with the «traitement traditionnel réservé à la composition et à la dérivation, il n'y a pas grand danger de confusion» [1975: 192] boils down to identifying his synthèmes with the traditional processes of «word-formation». The examples with which we began show the inadequacy of such an approach. In fact, Martinet's own attack on the concept «word» is inconsistent with an approach to «word-formation».

Those like Quirk et al. [1985] who rely on the notion «word» and identify processes of «word-formation» and the many English grammarians who follow a similar approach are noticeably reticent about giving clear definitions and corresponding criteria. One suspects that orthographic criteria (perhaps relating to dictionary making, traditional teaching and practical language teaching) take precedence over scientific

analysis. Quirk et al. do not define «word» but they comment on «words» rather vaguely as follows: «these linguistic units enable people to refer to every object, action and quality that members of a society distinguish... these units have a meaning and a structure (sometimes an obvious composite structure as in cases like *uncontrollable*) which relate them not only to the world outside language but to other words [sic!] within the language (*happy* to *happiness*, *unhappily*, etc.). The study of words is the business of lexicology.» [Quirk et al. 1985: 11].

Much later we are told (circularly) «in the case of lexicology the units are words, or more precisely (since some of the units comprise more than one word), *lexical items*» (p. 1517). As «word» is never defined, it is not clear that such a statement involves greater precision, but we then learn that «a rule of word-formation [in lexicology] differs from a syntactic rule in one important respect; it is of limited productivity in the sense that not all words which result from the rule are acceptable» (p. 15).

Now, in the first place, the degree of limitation necessary for identifying a non-syntactic «rule» (i.e. one which may not lead to acceptable complexes!) is not indicated. On the one hand, the «morphological» prefix *un-* can precede almost any adjective and, on the other, there are verbs which do not enter syntactic relations with «progressive» aspect (*own*, *know*, *believe*, etc.) and there are quite severe (syntactic) limitations on which verb phrases can enter conditional sentences (*If he had told me, I would have known* but not **if he will tell me, I would have known*; **If he had told me, I would be knowing*; **If he had been telling me, I will have been knowing*, etc.). While productivity may be an indicator, it cannot be a criterion to distinguish morphology from syntax.

In the second place (and strikingly), we have the circularity of «word-formation» being defined in terms of «words» which are handled in lexicology which deals in the study of «words» and «word-formation».

It is impossible to maintain a definition of «word» with clear criteria for the identification of particular «words» in such a way as to maintain the traditional notion of «integral minimum syntactic unit» (as A. Martinet and R. Quirk et al. wish to do) and cover all the units traditionally classed as words in their enormous variety from different languages. One need only consider such phenomena as the amalgamation of the syntactically unrelated *à* and *le* in *au*; the permutability of *pot* and *plant* in the

«compound word» (i.e. a word consisting of more than one word) *pot plant / plant pot*; the amalgamated discontinuity of plural and nominative in *boni pueri laborant* to form the grammateme (...i...i...ant); or the infixing of «imperfect» (...i...) in *nous aimions* (vs. *nous aimons*): and the fact that the simple unit *in* and the complex *silvis* («wood» + «plural» + «ablative») are both to be regarded as units of the same order in Latin to realise some of the many problems of the traditional identification of «words». The evidence presented above and other examples given below add to the problems by showing the communicational potential of «morphological» affixes for combination with syntactic complexes. Appeals to convenience or to the traditional analysis cannot hide the necessity of a theoretically justified methodology.

Elsewhere, I have pointed out that linguistic structures can be regarded as «strategies for communication» (see [Rastall 1994a, 1994b]). That is, any linguistic structure can be thought of as a strategy, or problem-solving device, to be employed for satisfying a communicational need using conventional means. Such strategies are part of the regulative system of verbal behaviour. Each strategy has a survival value thanks to its contribution to what Sebeok has called «semeiosis», a fundamental feature of all living organisms (see, for example, [Sebeok 1986: 152]). Speakers adapt and extend their existing structures as strategies to overcome the communicational problems of transmitting information about novel or different experiences and situations. Part of that adaptation is for speakers to extend the structural potentialities of languages beyond their normal range where it is in their communicational interests to do so.

A number of instances of this phenomenon can be mentioned. For example, I have drawn attention to the growing extension of the «plural / non-plural» distinction to attributive nouns (*medal winner* vs. *medals winner*, *road committee* vs. *roads committee*, *hospital supervisor* vs. *hospitals supervisor*, *world cup final match* vs. *world cup finals match*, etc.) to convey a communicational difference where once the attributive noun was «indifferent with respect to number» and always «singular» unless an invariably plural noun was involved (*car maker*, *shipyard*, *dog handler* but *clothes brush*, *customs officer*, etc.). Clearly, the plural / non-plural distinction elsewhere has been increasingly extended to the attributive noun

with the result that previously «singular» attributive nouns with an obviously plural sense have begun to be used in the plural (*antiques dealer, retail prices index* etc. for the earlier *antique dealer, retail price index*) – see [Rastall 1993].

Looking back at the history of English one can think of the gradual extension of the progressive / non-progressive distinction to all tenses and moods of both active and passive verbs with the result that structures such as *he will have been being seen this afternoon* and *he had been being seen every week* are now possible, whereas *he was being seen* was probably the limit for combining the progressive aspect with tense and a passive construction in the early eighteenth Century (see [Bradley 1931]). Another example is the «prenominal – noun» structure which, as is well known, has become increasingly important in English (and other Germanic languages) for the expression of complex nominals. One might note the prenominals in such expressions as *on / off button, in-wash fabric softener, pop-up book, easy-to-use system, lead-free petrol, off the peg clothes*, etc. for some impression of the extent of exploitation and adaptation of this structural possibility for naming new aspects of experience.

The possibility of combining *-ness* with syntactic complexes is just another such extension. It should not be too surprising. After all, we are used to the idea that the «genitive 's» is in construction with syntactic complexes in *The man I met at Birmingham's wife* (i.e. $((the \rightarrow man \leftarrow (I \rightarrow met) \leftarrow (at \leftarrow Birmingham)) \rightarrow 's) \rightarrow wife)$). The «genitive 's» too was once restricted to morphological combinations with nouns.

In fact, English has numerous surprises of the same sort. Various signs which we would traditionally consider affixes in morphological complexes (so-called «morphological formatives», to use Matthews' term (for a purely formal unit), see [Matthews 1974: 11 et passim]) have the potential for combining with syntactic complexes. They include *pro-*, *anti-*, *-y*, *-ish*, *-er*, *plural* and *simple past*. The strategies for the use of such signs have been extended to exploit structural possibilities for the expression of new messages.

We find *pro-* and *anti-* in *pro-Monetary Union, pro-right-to-life* (i.e. $(pro- \rightarrow (Monetary \rightarrow Union))$, $(pro- \rightarrow (right \leftarrow (to \leftarrow life)))$), *anti-Maastricht Treaty, anti-women's ordination, anti-live-animal exports* (i.e.

$(anti \rightarrow (Maastricht \rightarrow Treaty))$, $(anti- ((women \rightarrow 's) \rightarrow ordination))$, $(anti- \rightarrow ((live \rightarrow animal) \rightarrow exports))$). *Pro-* and *anti-* (like *pre-* and *post-* mentioned earlier) can also be coordinated by signs such as *and* and *or* – *pro- and anti-European Union demonstrators* ($((pro- \leftarrow (and \leftarrow anti-)) \rightarrow European Union) \rightarrow demonstrators)$).

The sign *-y*, which we normally find in *dirty, sunny*, etc., is commonly attached to noun phrases to form a kind of adjectival, e.g. *a pea-soupy taste, a hot-chocolatey smell, a roasted-chestnuts-round-the-fire-y atmosphere* – also from the «Sunday Times» – (i.e. $((pea \rightarrow soup) \leftarrow y)$, $((hot \rightarrow chocolate) \leftarrow y)$, $((roasted \rightarrow chestnuts \leftarrow (round \leftarrow (the \rightarrow fire))) \leftarrow y)$).

The sign *-ish*, which is used to indicate rough approximation or a moderate degree in *reddish, cleverish, prettyish*, can also combine with syntactic complexes in such structures as *half past six-ish, twenty five-ish, in the middle-ish* (with the meanings «approximately 6.30», «about 25» and «roughly in the middle»), i.e. syntactically ($((half \leftarrow (past \leftarrow six)) \leftarrow ish)$, $((twenty \leftarrow / \rightarrow five) \leftarrow ish)$, $((in \leftarrow (the \rightarrow middle)) \leftarrow ish)$). It is significant that *-ish* may constitute a complete utterance with a final statement intonation pattern on its own in elliptical expressions and responses with the meaning «roughly» / «approximately», i.e. it behaves like a minimum syntactic unit («plereme» or «minimum free form»).

– *He was twenty five... -ish.*

– *Is this the right place?*

– *-Ish!* (answer).

Similarly, *pro-* and *anti-* are used as free units.

– *He is pro-; she is anti-.*

– *Are you pro- or anti-?*

In other words there has been an extension of the use of *-ish*, *pro-* and *anti-* beyond that of an affix.

The signs *-er* (discussed earlier), *simple past*, and *plural* must be among those most clearly and normally reckoned to be «morphological formatives» in English. Without wishing to overstate the case (because those signs are indeed overwhelmingly found in morphological complexes), even they display some potential for combining with syntactic complexes. Jespersen [1933: 92 ff.] noted long ago cases such as *Pacific Islander* and *East Londoner*, where *-er* with the meaning «inhabitant of» is plainly in construction with the complexes *Pacific Island* and *East Lon-*

don (i.e. ((*Pacific* → *Island*) ← *er*), ((*East* → *London*) ← *er*)). More recently, where *-er* names a performer of, or participant in, an action, there have been signs such as *high-jumper*, *sky-diver*, *right-to-lifer* in which *-er* is combined with the complexes *high-jump*, *sky-dive* and *right-to-life* (i.e. ((*high* → *jump*) ← *er*), ((*sky* → *dive*) ← *er*), (((*right* ← (*to* ← *life*)) ← *er*)). That is, in those cases we name «one who performs the high-jump», «one who does a sky-dive» and «one involved in the right-to-life movement» and not (nonsensically) «a jumper who aims at height», «a diver who is in the sky» or «a lifer with a right to (?)».

We can also note such rather contemptuous expressions as (*she is (a) ban-the-bomb-er*, *save-the-whale-er*, etc. (i.e. ((*ban* ← (*the* ← *bomb*)) ← *er*), ((*save* ← (*the* ← *whale*)) ← *er*)) to name a person involved in or supporting the movement to ban the bomb or save the whale.

The syntactically complex verbs (*to*) *sky-dive*, *high-jump*, *long-jump*, *weight-lift*, *time-keep*, *clock-watch* have all been observed in construction with the sign, *simple past*, to form *sky-dived*, *high-jumped*, *long-jumped*, *weight-lifted*, *time-kept* and *clock-watched*. Again, these constructions must be interpreted as naming the past actions of performing a sky-dive, high-jump, long jump, weightlifting, time-keeping and clock-watching. Other possibilities would not be appropriate. One would then have the constructions ((*sky* → *dive*) ← *simple past*), ((*high* → *jump*) ← *simple past*), ((*long* → *jump*) ← *simple past*), ((*weight* → *lift*) ← *simple past*), ((*time* → *keep*) ← *simple past*), ((*clock* → *watch*) ← *simple past*).

We can also find the sign *plural* cropping up in construction with syntactic complexes. It was Jespersen again [1933: 202] who observed such examples as *twenty-fifths*, «more than one twenty-fifth», (i.e. (((*twenty* ← */* → *five*) ← *th*) ← *plural*)) – noting the position of *-th*; *the Miss Browns*, rather than the old fashioned *the Misses Brown* (i.e. (*the* → ((*Miss* → *Brown*) ← *plural*)), *good-for-nothings* (i.e. ((*good* ← (*for* ← *nothing*)) ← *plural*), *book burnings* ((*book* → *burning*) ← *plural*), *go-slows* ((*go* ← *slow*) ← *plural*) and *cinema goers* more than one person who goes to the cinema (i.e. ((*cinema* → *goer*) ← *plural*)). Another clear case is the expression *the world number ones in tennis* in which the plural is attached to the syntactic complex *number one* (i.e. ((*number* → *one*) ← *plural*)), i.e. more than one «number one» (a male and a female).

In the cases of *cinema-goer*, *go-slow* and *good-for-nothing*, we have signs which are plainly complex but which are «fixed» as collocations. The component signs are moving in the direction of coalescence in the same way in which the component signs of *sweetheart* have coalesced with a change of meaning so that the meaning of the sign («beloved») is not a function of the meanings of the original component signs. In intermediate cases such as *cinema-goer*, *go-slow* etc., many of which are clearly syntactic, it is difficult to know with what the sign *plural* is in construction. So it is with signs such as *washing machines*, *girl friends*, *waiting lists*, *sewing machines*, etc. Do we have (*washing* → (*machine* + *plural*)), (*waiting* → (*list* + *plural*)), (*sewing* → (*machine* + *plural*)) or as seems intuitively more correct ((*washing* → *machine*) ← *plural*), ((*girl* → *friend*) ← *plural*), ((*waiting* → *list*) ← *plural*), ((*sewing* → *machine*) ← *plural*), i.e. 'more than one washing machine/girlfriend, etc.'? One would expect such signs as *washing-machine* and *girl friend* to fossilise to form simple signs with which *plural* can be in construction. In the meantime, we probably have instances of the «prenominal – noun» construction which is in construction with plural, i.e. *plural* is in construction with a clearly syntactic complex.

Similar remarks apply also to other syntactically complex nominals formed from phrasal verbs which are still complex (because their components are both commutable) but which are moving towards the coalescence of their parts and the loss of the separate semantic and grammatical functions of those parts, e.g. *break-ins*, *fly-overs* (i.e. ((*break* ← *in*) ← *plural*), ((*fly* ← *over*) ← *plural*)). Signs such as *lay-by* and *take-off* must now be regarded as no longer complex. They have already become «fossils» whose meaning is not a function of the meanings of their parts.

The above examples show that the grammatical strategies involved in the use of *-ness*, *pro-*, *anti-*, *-y*, *-ish*, *-er*, *plural* and *simple past* have been extended from the possibility of combination with a simple sign to form a morphological complex to the possibility of combination with syntactic complexes to form further syntactic complexes.

It can be argued, then, that – contrary to the traditional view – the above examples are not morphological. Since morphological complexes may function as minimum units in syntax, they can enter but they cannot contain syntactic complexes. The problem arises in these cases, then, of

what we mean by a morphological complex and a «morphological element». In the English signs we have discussed, there is only an incipient tendency towards syntactic combinability. In other languages, such as Chukchi, the combination of syntactic complexes with (discontinuous) «morphological» signs (treated by specialists as «incorporative formations») is a widespread and systematic feature of the language. English may be thought of as moving in the direction of Chukchi in that respect. (I am indebted to Professor N. V. Pertsov for information relating to palaeo-asiatic languages.) From the point of view adopted here, the recent English examples (and, perhaps, the palaeo-asiatic structures?) form an interesting syntactic sub-type.

It could, of course, be argued that some of the above examples are cases of «composition» (or «compounding», as we find in many traditional treatments such as those of [Quirk et al. 1985] or [Matthews 1974]). Traditionally, *long-jump*, *clock-watch*, etc. would fall into that category. It is hard to see, however, how *dropping down dead*, *up and down*, *calm and collected*, *Pacific Island*, *right to life*, *Maastricht Treaty*, *live animal exports*, *in the middle*, *ban the bomb*, etc. could be treated in such a way. Furthermore, the traditional notion of «composition» is itself, as I have argued before [Rastall 1993: 312–313], unacceptable. It is a fudge in which «words», normally the minimum syntactic units, are combined «morphologically» to form further «(composite) words». Whatever «composite words» might be, if there were clear criteria for their identification, they would be formed in quite a different way from morphological complexes containing traditional affixes. Seen from the opposite point of view «(composite) words» (minimum syntactic units?) are analysable into further words (also minimum syntactic units?). Moreover, it is normal in traditional approaches to describe «compositions» in terms of the syntactic parts of speech of which they consist. Thus, one would be told (inconsistently) that, for example, *long-jump* is «formed from» the adjective *long* and the noun *jump*. In other words, the only way to maintain the traditional terminology is to accept the traditional confusion over the definition of «word» which, as mentioned earlier, also has many other difficulties.

More recent attempts at providing a theoretically motivated distinction between morphology and syntax have been made by Hjelmslev [1971: 94–95] and Hervey and Mulder [1973]. Both approaches have

taken the linguistic sign (as an element defined as having both an expression and a content) and have concentrated on the relations contained and contracted by signs. For Hjelmslev, the word is retained as the minimum unit which enters permutations of both the expression and content. Morphology, then, looks at non-permutable sign combinations (forming words) and syntax at permutable ones. Otherwise, Hjelmslev's dependency relations are the same in both morphology and syntax.

Starting from the general theory of relations, Hervey and Mulder exploit the distinction between symmetrical (or «unordered») relations (found in equivalences or tolerances) and asymmetrical (or «ordered») relations. A symmetrical, or unordered relation, is equivalent to its converse. Thus, in the case of the relation «is in the same class as», if *a* is in the same class as *b*, then *b* is in the same class as *a* and *vice versa*. In an asymmetrical, or ordered relation, a relation and its converse are non-equivalent. Thus, «*a* is the father of *b*» is not equivalent to its converse, «*b* is the father of *a*». In languages, the important point is whether constructional relations and their converses are equivalent with respect to communication (functional ordering). In the case of distinctive features, any construction or pair of distinctive features contains a symmetrical (unordered) relation. The construction, *labial R nasal*, in English is communicationally equivalent to its converse, *nasal R labial*. Both are equivalent to the phoneme, /m/ (see [Mulder 1968] and [Rastall 1993]). Combinations of phonemes, by contrast, involve asymmetrical (ordered) relations because their converses have the potential for differentiating messages. Thus, in English, the order of the phonemes, /p/ and /s/, is communicationally relevant as in /aps/ (*apse*) as opposed to /asp/ (*asp*) and the same is true in constructions consisting of /k/ and /s/ in, for example, /taks/ (*tax*) as opposed to /task/ (*task*) or /t/ and /i:/ (/ti:/ *tea* vs. /i:t/ *eat*), etc. /p/ R /s/ and its converse, /s/ R /p/, are communicationally different (and similarly for /k/ R /s/ and /t/ R /i:/, etc.).

In an unordered (linguistic) relation, the relation itself can never convey a communicational difference, whereas an ordered relation has the potential to do so because the nature of the relation between the elements may be different. The same idea is exploited in grammar to develop a distinction between «morphology» and «syntax» [Mulder 1989, 1996]. The distinction drawn by Hervey and Mulder (or the earlier one by Hjelmslev) is not, of course, identical to the traditional one, although

the use of the same terminology is intended to show that their distinction refers to a similar area of phenomena with more rigorous criteria of analysis.

Hervey and Mulder distinguish morphological complexes as functionally unordered from syntactic complexes which are functionally ordered. Functional ordering is not a matter of the temporal or linear sequence. A constructional relation between two signs is functionally ordered if the relation itself shows a potential for communicational difference; otherwise, it is an unordered constructional relation. Where an ordered relation is involved in a construction, by definition we are dealing with a syntactic complex. If there is an unordered relation, the complex is morphological. A word or a discontinuous grammateme, i.e. a sign such as *as...as* or *be...ing* whose **form** can be separated by intervening signs in the sequence (collectively «pleremes»), is defined as a minimum syntactic unit and may contract but not contain (be constituted by) ordered relations (otherwise, it would not be a minimum unit in syntax). A word or grammateme, if complex, may contain minimum signs (monemes) contracting unordered relations (in morphology). We can say — **in morphology (or «plerematics») — pleremes consist of one or more monemes in unordered relations and in syntax (or «plerotactics») — syntagms consist (ultimately) of two or more pleremes in ordered relations** (naturally, syntagms may consist of syntagms in ordered relations).

A relation between signs is functionally ordered if permutation leads to a communicational difference or if one or more component signs commutes with or may enter complex signs at the same point (i.e. if there is a potential for a hierarchy of relations which could be exploited for communicational differences). *Pot plant* and *plant pot*, for example, permute in this way and, hence, contain syntactic relations. (The relative grammatical positions of the signs (i.e. their grammatical relation), pre-nominal or (head) noun, determine the interpretation of the sign.) Furthermore, there is a hierarchical potential in English «pre-nominal → noun» constructions which is shown by the commutation of *car* in *car park* with the complex *car and bus* in ((*car and bus*) *park*) and with the complex *town bus* which forms the ambiguous *town bus park*, i.e. ((*town bus*) *park*) or (*town (bus park)*), respectively a parking place for town buses and a bus parking place for the town. The ambiguity is related to the syntactic potential of the structure (different bracketings are related

to different interpretations). An unordered, or «morphological», complex could not permit ambiguity in that way. In general, «pre-nominal → noun» constructions must be regarded as syntactic for such reasons and, hence, not as morphological compositions, as in the traditional accounts (which, as we have seen, are doubtful in many respects).

Unordered, or morphological, relations are constructional relations which can never show the potential for a communicational difference; they show merely that two signs form a complex. An example is *care + ful* in which there is no potential either for communicationally significant permutation or for the commutation of either *care* or *-ful* with complexes (there is no potential for bracketting). Thus, a sign such as *careful* contains the two monemes, *care* and *-ful*, in an unordered relation, but — as a plereme — it contracts syntactic relations with e.g. *more...than* in *more careful than (her)* (because both *more...than* and *careful* commute with further bracketted complexes, e.g. (*very much* → (*more...than*)), (*careful* ← (*and helpful*)) in *very much more careful and helpful than (her)*. Obviously, from this point of view, if a sign contains a syntactic relation, it cannot be minimum in syntax and is, hence, syntactic itself.

Of the two criteria, the demonstration of a potential for hierarchical relations is by far the easier to apply. Permutation is notoriously unreliable. The simple non-occurrence of (sequential) permutation does not show that one is dealing with morphological complexes. One cannot permute *the* and *garden* in *the garden* or *may* and *go* in *may go* any more than *work* and *-er* in *worker*, but one would want to say that *the garden* and *may go* are syntactic complexes. Commutation with complexes helps us out in such cases. *Garden*, for example, commutes with *rose garden*, *may* with *can and may* and *go* with *go or not go* in *the rose garden*, *can and may go* and *may go or not go*.

The application of the criterion of «potential for hierarchical relations» can lead to some unexpected consequences. In *unfair* or *fairness*, we find that *fair* commutes with complex signs such as *helpful* and *careful* and we can form *unhelpful*, *carefulness*, etc. It is clear that such signs involve a hierarchy of construction (i.e. (*un* → (*help + ful*)) and ((*care + ful*) ← *ness*)) consisting of the pleremes, *un*, *helpful*, *careful* and *-ness*, because *unhelp* and *careness* do not exist. That is, *un-* and, as we might expect, *-ness* must be regarded as forming syntactic, and not morphologi-

cal, complexes, although that is not the case for *help* or *care* with *-ful* or *-less*, which are morphological complexes.

What we have seen above is that there is no unbridgeable division between morphological and syntactic complexity in a given language. Signs which we habitually regard as entering «morphological» complexes may be potentially combinable in syntactic constructions and may be exploited by speakers in that way for communicational purposes. Classifications are not for ever and one would be unwise to attempt to define «morphology» by means of the listing of «morphological formatives» involved in «word-formation», as Quirk et. al. appear to do. «Morphological» elements can, and do, change their status. The traditional approach can lead to rigidity of classification and the possibility of ignoring or treating mechanically new or different linguistic strategies.

That, of course, takes us back to the morphology – syntax distinction and the need for clear criteria. If it can be agreed that speakers exploit grammatical patterns as strategies for meeting communicational needs, then the important thing is to identify those patterns. It may be that one strategy is to form **complexes consisting of minimum signs each of which commutes only with minimum signs**. Such a strategy appears to be important (although not, of course, exclusively so) in some languages such as Latin or Russian. *Puella* in Latin is clearly a combination (or, perhaps, constellation) of the minimum signs *puell-*, *singular* and *nominative* each of which commutes only with simple signs. We might call such complexes «morphological» and their study «morphology»; they would be «unordered complexes» in Hervey and Mulder's sense. It should be clear that such a communicational strategy is significantly less important in other languages, such as English, where the historical tendency is away from morphological complexes of that type (although some such exist, as we have seen). One might note that even in Russian case and number may be combined with complex nominals such as *gorodu-geroju* («to the hero city»), *fizikom-filosofom* («by the physicist-philosopher»), etc., with the double discontinuous expression of the amalgams *dative/singular (...u...u)* and *instrumental/singular (...om...om)*. Complex nominals in Russian are, of course, normally regarded as «morphological» in the same way that compositions are regarded as «morphological complexes» in traditional approaches to English grammar. We have suggested that such traditional treatments are open to doubt and certainly at least beg

the question of how morphological complexes are to be distinguished from syntactic ones. To the extent that the complex nominals may be regarded as forming syntactic (rather than morphological) complexes (because their components are minimum syntactic units), the normally morphological potentialities of case and number in Russian appear to be extended to syntactic contexts. At the least, the combination of case and number with complex nominals is an extension of an existing strategy in Russian to relatively new grammatical contexts. As we have seen above, it can be argued that, where there is a potential for hierarchical («ordering») relations due to commutation with complex signs we are dealing with **syntactic** complexes.

The tendency of English is to exploit syntactic strategies rather than morphological ones in the sense that constructions are formed of signs, such that one or more of the component signs may commute with complex signs. This is the sense in which English is an «isolating» language». It is part of the language's «synchronic dynamics». The extension of such signs as *-ness*, *-y*, etc. to syntactic contexts is evidence of the exploitation of that strategy to meet new communicational needs. Naturally, languages adopt «morphological» and «syntactic» strategies in differing degrees. Typologically, what is important is the predominant tendency. Within the range of strategies for dealing with communicational needs, the extension of «morphological» formatives to syntactic contexts represents an important category, which – as possibly in the palaeo-asiatic languages – is an intermediary between the strictly «morphological» and the strictly «syntactic», involving syntactic relations of restricted scope. What is important is, of course, not so much the classification as the meaning of terms and their application to reveal linguistic structure.

One might conclude that a morphology – syntax division along the lines indicated is convenient for analysis and reflects a genuine difference in communicational strategy, each language exploiting «morphological» and «syntactic» strategies in different degrees. One might suggest also, however, that the most significant thing is not the universality or otherwise of the morphology – syntax distinction and its use as part of a definition of language (see, for example, [Mulder, Hervey 1975]), but the strategic exploitation of communicational resources in grammar, some of which may be of the morphological type, and the extension of strategies to new contexts for new communicational

purposes, as in the cases discussed above. Communicational strategies which regulate verbal behaviour must be seen in terms of their adaptive value.

Literature

- Bradley 1931 – Bradley H. *The Making of English*. London, 1931.
- Hervey, Mulder – Hervey S.G.J., Mulder J.W.F. Pseudo-composites and Pseudowords; sufficient and necessary criteria for morphological analysis // *La Linguistique*. – 1973. – №1.
- Hjelmslev 1971 – Hjelmslev L. *Prolégomènes à une théorie du langage*. – Paris, 1971.
- Jespersen 1933 – Jespersen O. *Essentials of English Grammar*. – London, 1933.
- Martinet 1975 – Martinet A. *Studies in Functional Syntax*. – Munich, 1975. [Containing the reprinted articles «Le mot», «Composition, dérivations et monèmes» and «Syntagme et syntème»].
- Matthews 1974 – Matthews P. *Morphology*. – Cambridge, 1974.
- Mulder 1968 – Mulder J.W.F. *Sets and Relations in Phonology*. – Oxford, 1968.
- Mulder 1968 – Mulder J.W.F. *Foundations of Axiomatic Linguistics*. – Berlin–The Hague, 1989.
- Mulder 1968 – Mulder J.W.F. *Un ou deux monèmes?* // *La Linguistique*. – 1996. – №1.
- Mulder, Hervey 1975 – Mulder J.W.F., Hervey S.G.J. *Language as a System of Systems* // *La Linguistique*. – 1975. – №2.
- Quirk et. al. – Quirk R. et. al. *A Comprehensive Grammar of the English Language*. – London, 1985.
- Rastall 1993a – Rastall P. *Empirical Phonology and Cartesian Tables*. – Lampeter–Lewiston, 1993.
- Rastall 1993b – Rastall P. *On the Attributive Noun in English* // *IRAL*. – 1993. – №4.
- Rastall 1994a – Rastall P. *Communication Strategies and Translation* // *Babel*. – 1994. – №1.
- Rastall 1994b – Rastall P. *Languages as Strategies for Communication* // *Working Papers in Linguistics*. – Vol. 1. – University of Portsmouth, 1994.
- Sebeok 1986 – Sebeok T. *I Think I Am a Verb*. – London–New York, 1986.

М. В. Рудерман

M. V. Ruderman

Способы выражения пола и возраста
в названиях животных в арабском языке
(в сопоставлении с английским и немецким)

Manifestation of sex and age in names of animals
in Arabic as compared to English and German

Данная работа посвящена выявлению способов выражения пола и возраста в названиях животных в современном арабском литературном языке в сравнении их со способами, существующими в английском и немецком языках, на материале ограниченного массива соответствующей лексики.

Для описания арабских названий животных различного пола и возраста используется понятие «видовой парадигмы», представляющей собой опробованный автором на английском и немецком материале расширенный вариант «сексуальной парадигмы». Последний термин введен М. А. Кронгаузом [Кронгауз 1996] для обозначения группы слов, «значение которых совпадает с точностью до семантического компонента "пол"»; в применении к животным сексуальную парадигму составляют слова со значениями «вид животного», «самец данного вида» и «самка данного вида», например: 'собака' – 'кобель' – 'сука'. «Видовая парадигма» представляет собой группу

слов, значения которых совпадают с точностью до семантически-компонентов 'пол' и 'возраст'. Каждая видовая парадигма — это не иерархическая классификация названий животных определенного вида: разбиение на классы в ней «осуществляется сразу по нескольким признакам» [Розина 1982], а именно — по признакам «пол» и «возраст». Принадлежность какого-либо названия животного к определенному классу определяется типом комбинации у него конкретных значений этих признаков. Признак «пол» по естественным соображениям имеет ограниченное количество значений (в нашей трактовке — три: 'мужской', 'женский' и 'средний'; носитель последнего — название кастрированного самца или особи, пол которой не известен или не важен говорящему). Градация же по возрасту теоретически может быть бесконечно дробной (для английских и немецких названий животных релевантными оказались различия между значениями 'взрослый', 'молодой' и 'детеныш'). Таким образом существует теоретически неограниченное количество комбинаций конкретных значений признаков пола и возраста, не все из которых, очевидно, практически реализуются в языке (т.е. имеют материальное неописательное — неаналитическое — выражение). Числом практически реализующихся в данном языке комбинаций определяется число членов максимальной видовой парадигмы (МВП) данного языка. Для английского и немецкого языков максимальная видовая парадигма содержит семь членов со следующей семантикой:

1. 'животное данного вида';
2. 'взрослый самец данного вида';
3. 'кастрированный самец данного вида';
4. 'взрослая самка данного вида';
5. 'молодой самец данного вида';
6. 'молодая самка данного вида';
7. 'детеныш данного вида'.

Введенное выше понятие видовой парадигмы подпадает под определение лексической парадигмы как «объединения грамматически однородных слов, имеющих семантическую общность» [Кубрякова 1990]. Общий элемент значения, присущий всем членам каждой видовой парадигмы, — 'животное данного вида'. Он совпадает

с семантикой первого члена МВП, который поэтому признается главным среди всех ее членов и заслуживающим право присвоить свое имя всей парадигме, тем более что первый член содержится в видовой парадигме названий *всех* рассмотренных животных и почти всегда является *исходным* при образовании остальных членов парадигмы. Поэтому в дальнейшем мы будем говорить, например, «видовая парадигма лексемы *Rind*» вместо «видовая парадигма названий коровы в немецком языке».

Необходимым и достаточным условием постулирования клетки МВП данного языка, в которой реализуется какая-либо комбинация значений признаков «пол» и «возраст», является реализация этой комбинации в рамках видовой парадигмы по крайней мере одной конкретной лексемы данного языка. Поскольку реализация этой комбинации не является гарантией заполнения всех остальных клеток видовой парадигмы данной лексемы, в данном языке может не быть ни одной реальной лексемы, обладающей МВП. (И в английском, и в немецком языках есть лексемы с МВП, т.е. с 7-членной видовой парадигмой. Например, парадигма английской лексемы *cow*: 1. *cow*, 2. *bull*, 3. *bullock*, *steer*, 4. *cow*, 5. *stirk*, 6. *heifer*, 7. *calf*; парадигма немецкой лексемы *Rind*: 1. *das Rind*, 2. *der Bulle*, *der Stier*, 3. *der Ochse*, 4. *die Kuh*, 5. *der Farre*, 6. *die Färse*, 7. *das Kalb*. В арабском, по нашим данным, лексем с МВП нет.) Примеры лексем, не обладающих МВП: англ. *duck* — у этой лексемы четырехчленная видовая парадигма (отсутствуют названия кастрированного самца и молодых особей обоих полов): 1. *duck*, 2. *drake*, 4. *duck*, 7. *duckling*; нем. *Pferd* — пятичленная видовая парадигма (отсутствуют названия молодых особей обоих полов): 1. *das Pferd*, 2. *der Hengst*, 3. *der Wallach*, 4. *die Stute*, 7. *das Fohlen*, *das Füllen*.

МВП арабского языка содержит 10 членов со следующей семантикой:

1. 'животное данного вида';
2. 'старый самец данного вида';
3. 'старая самка данного вида';
4. 'взрослый самец данного вида';
5. 'взрослая самка данного вида';
6. 'молодой самец данного вида';

7. 'молодая самка данного вида';
8. 'детеныш-самец данного вида';
9. 'детеныш данного вида, пол которого не известен или не важен говорящему (т.е. не имеет материального выражения)';
10. 'детеныш-самка данного вида'.

Конкретная видовая парадигма образуется путем применения к «исходному» члену видовой парадигмы — названию вида — ниже следующих способов (синхронно продуктивных, как, например, морфологический, или «застывших», как супплетивный):

1) аналитический способ — значения пола и возраста выражаются каждое с помощью отдельного слова: араб. *dakarun* 'самец', *ʔunṭatun* 'самка', *waladun* 'детеныш', *fatiyyun* / *fatiyyatun* 'молодой / молодая', *musinnun* / *musinnatun* 'старый / старая', *bāligun* / *bāligatun* 'взрослый / взрослая'; англ. *male*, *female*, *he-*, *she-*, *adult*, *young*, *castrated* / *cut*; нем. *männlich*, *weiblich*, *ausgewachsen*, *jung*, *verschnitten*;

2) морфологический способ: араб. — с помощью отдельного суффикса женского рода *-at-* (для названий самок) или словообразовательной модели *fuʔaylun* — формула уменьшительных имен (для названий детенышей) (в арабском этот способ применим не только к исходному члену видовой парадигмы, о чем подробнее — ниже); англ. — с помощью суффикса (*-ess*, *-y*, *-ling*); нем. — с помощью суффикса (*-in*, *-er*, *-ich*, *-chen*);

3) супплетивный способ — с помощью нового корня, выражающего одновременно основное значение ('вид животного') и соответствующие значения пола и возраста, например: араб. *farasun* 'лошадь' — *ḥijrun* 'кобыла'; англ. *duck* 'утка (вид)' — *drake* 'селезень'; нем. *Hund* 'собака' — *Rüde* 'кобель';

4) способ полисемии — с помощью выбора другого значения многозначного слова, например: араб. *kalbun* 1. 'собака (вид животного)', 2. 'кобель'; англ. *chicken* 1. 'курица (вид)', 2. 'цыпленок (детеныш данного вида)'; нем. *Gans* 1. 'гусь (вид)', 2. 'гусыня';

5) «псевдоаналитический» способ — с помощью отдельного слова, несущего в видовой парадигме данной лексемы только значения пола и возраста, а в видовой парадигме какой-либо другой лексемы

также и основное значение (значение соответствующего этой лексеме вида животного), например: араб. *jirwu dubbun* 'детеныш медведя', *jirwu diʔbin* 'детеныш волка', при этом отдельно *jirwun* — 'щенок'; англ. *tom* 1. 'самец', 2. 'кот-самец'; нем. *Hirschkalb* 'оленок, букв. олень-детеныш', *Kalb* 'теленочек'.

Универсальным способом (т.е. дающим обозначения для всех членов видовой парадигмы) является аналитический. Именно в силу его универсальности мы исключим его из рассмотрения на стадии заполнения конкретных видовой парадигм, т.е. будем заполнять их такими членами, в образовании которых участвуют другие способы выражения пола и возраста. Далее приводятся полученные видовые парадигмы, содержащие наибольшее количество членов (от 7 до 3), а также — для сравнения — английские и немецкие видовые парадигмы (нумерация членов арабских парадигм соответствует принятой выше для арабской МВП, английских и немецких парадигм — принятой для англо-немецкой МВП).

Арабские (собр. — имя собирательное, и.ед. — имя единичности):

'верблюд': 1. *ʔibilun* собир., 3. *šārifun*, 4. *jamalun*, 5. *nāqatun*, 6. *bakrun*, 7. *baqrātun*, 9. *ḥuwārun*, *saqbun*.

'курица': 1. *dajājun* собир., 4. *dikun*, 5. *dajājatun*, 9. *farrūjun* собир., *farrūjatun* и.ед.

'лошадь': 1. *ḥaylun* собир., *farasun*, 4. *ḥisānun*, 5. *ḥijrun*, 8. *muhrun*, 10. *muhratun*.

'корова': 1. *baqarun* собир., 2. *ʔuljūmun*, 4. *ṭawrun*, 5. *baqrātun*, *ṭawratun*, 8. *ʔijlun*, 10. *ʔijlatun*.

'свинья': 1. *ḥinzirun*, 4. *ʔifrun*, 8. *ḥinnawṣun*, 10. *ḥinnawṣatun*.

'овца': 1. *ḡanamun* собир., *šātun*, *ḡaʔnun*, 4. *kabšun*, 5. *naʔjatun*, 8. *ḡarūfun*, 9. *ḡamalun*, *saḡlatun*, 10. *ḡarūfatun*.

'утка': 1. *baṭṭun* собир., *baṭṭatun* и.ед., 4. *ʔuljumun*, 5. *baṭṭatun*, 8. *farḡu baṭṭatin*, 10. *farḡatu baṭṭatin*.

'гусь': 1. *ʔiwazzun*, *wazzun* собир., *ʔiwazzatun*, *wazzatun* и.ед., 8. *farḡu ʔiwazzatin*, *farḡu wazzatin*, 10. *farḡatu ʔiwazzatin*, *farḡatu wazzatin*.

'собака': 1. *kalbun*, 4. *kalbun*, 5. *muʔāwiyatun*, *kalbatun*, 8. *jirwun*, 10. *jirwatun*.

‘кошка’: 1. *qittun*, *bassun*, *hirrun*, *sinnawrun*, 4. *qittun*, *bassun*, *hirrun*, *sinnawrun*, 5. *hirratun*, 10. *hurayratun*.

‘коза’: 1. *maʿzun* собир., *maʿizun*, 4. *taysun*, 5. *ʿanzatun*, *maʿizatun*, 7. *ʿanāqun*, 9. *jadyun*.

‘осел’: 1. *himārun*, 4. *himārun*, 5. *ʿatānun*, *himāratun*, 8. *jaḥsun*, 10. *jaḥsatun*.

‘лиса’: 1. *taʿlabun*, 4. *tuʿlubānun*, 5. *taʿlabatun*, *tuʿālatun*, 9. *muʿāwiyatun*.

‘тигр’: 1. *namirun*, 4. *namirun*, 5. *namiratun*, 8. *jirwu namirin*, 10. *jirwatu namirin*.

‘лев’: 1. *ʿasadun*, *laytun*, 4. *ʿasadun*, *laytun*, 5. *labuʿatun*, *laytatun*, 9. *šiblun*.

‘медведь’: 1. *dubbun*, 4. *dubbun*, 5. *dubbatun*, 8. *jirwu dubbun*, 10. *jirwatu dubbun*.

‘голубь’: 1. *ḥamāmun* собир., *ḥamāmatun* и.ед., 4. *ḥamāmatun*, 5. *ḥamāmatun*, 9. *jazwalun*.

‘заяц’: 1. *ʿarnabun*, 4. *ḥuzazun*, 5. *ʿarnabatun*, 9. *ḥirniqun*.

‘волк’: 1. *diʿbun*, 4. *diʿbun*, 5. *diʿbatun*, 8. *jirwu diʿbin*, 10. *jirwatu diʿbin*.

‘газель’: 1. *zabyun*, *yaʿfūrun*, 4. *gazālun*, 5. *zabyatun*, *gazālatun*, 9. *rašaʿun*, *talwun*.

‘слон’: 1. *filun*, 4. *filun*, 5. *filatun*.

Английские:

‘курица’: 1. *chicken*, 2. *cock*, 3. *capon*, 4. *hen*, 5. *cockerel*, 6. *pullet*, 7. *chicken*.

‘лошадь’: 1. *horse*, 2. *stallion*, *stud*, 3. *gelding*, 4. *mare*, 5. *colt*, 6. *filly*, 7. *foal*.

‘корова’: 1. *cow*, 2. *bull*, 3. *bullock*, *steer*, 4. *cow*, 5. *stirk*, 6. *heifer*, 7. *calf*.

‘свинья’: 1. *pig*, 2. *boar*, 3. *hog*, 4. *sow*, 5. *pig*, 6. *pig*, 7. *piglet*, *piggy*.

‘овца’: 1. *sheep*, 2. *ram*, *tup* с/х, 3. *wether*, 4. *ewe*, 5. *hogget* диал., 6. *teg*, 7. *lamb*.

‘утка’: 1. *duck*, 2. *drake*, 4. *duck*, 7. *duckling*.

‘гусь’: 1. *goose*, 2. *gander*, 4. *goose*, 7. *gosling*.

‘собака’: 1. *dog*, 2. *dog*, 4. *bitch*, 7. *pup*, *puppy*.

‘олень’: 1. *deer*, 2. *stag*, 4. *hind*, 7. *fawn*.

‘кошка’: 1. *cat*, 2. *tom*, *tomcat*, 7. *kitten*, *kitty*.

‘коза’: 1. *goat*, 2. *billigoat* разг., 4. *nanny* разг., 7. *kid*.

‘осел’: 1. *ass*, *donkey*, 2. *jack*, *jackass*, 4. *jennet*.

‘лиса’: 1. *fox*, 4. *vixen*.

‘тигр’: 1. *tiger*, 4. *tigress*.

‘лев’: 1. *lion*, 4. *lioness*.

‘медведь’: 1. *bear*.

‘куница’: 1. *marten*.

Немецкие (грамматический род лексем: m. — мужской, f. — женский, n. — средний; род не указывается, если совпадает с ожидаемым для данной клетки видовой парадигмы: клетки №№ 2, 3, 5 — m., №№ 4, 6 — f., № 7 — n.):

‘курица’: 1. *Huhn* n., 2. *Hahn*, 3. *Kapaun*, 4. *Huhn* n., *Henne* 7. *Kücken*, *Küken*.

‘лошадь’: 1. *Pferd* n., 2. *Hengst*, 3. *Wallach*, 4. *Stute*, 7. *Fohlen*, *Füllen*.

‘корова’: 1. *Rind* n., 2. *Bulle*, *Stier*, 3. *Ochse*, 4. *Kuh*, 5. *Farre*, 6. *Färse*, 7. *Kalb*.

‘свинья’: 1. *Schwein* n., 2. *Eber*, 3. *Barch*, 4. *Sau*, 7. *Ferkel*.

‘овца’: 1. *Schaf* n., 2. *Widder*, 3. *Hammel*, 7. *Lamm*.

‘утка’: 1. *Ente* f., 2. *Enterich*, *Erpel*, 4. *Ente*, 7. *Entchen*.

‘гусь’: 1. *Gans* f., 2. *Gänserich*, 4. *Gans*, 7. *Gänschen*.

‘собака’: 1. *Hund* m., 2. *Rüde*, 4. *Hündin*, 7. *Welpе*, m.

‘олень’: 1. *Hirsch* m., 2. *Hirsch*, 4. *Hirschin*, 7. *Hirschkalb*.

‘кошка’: 1. *Katze* f., 2. *Kater*, 4. *Katze*, 7. *Kätzchen*.

‘коза’: 1. *Ziege* f., 2. *Bock*, 7. *Kitz*, *Zickel*.

‘осел’: 1. *Esel* m., 4. *Eselin*, 7. *Eselchen*.

‘лиса’: 1. *Fuchs* m., 4. *Füchsin*, 7. *Füchschen*.

‘тигр’: 1. *Tiger* m., 4. *Tigerin*.

‘лев’: 1. *Löwe* m., 4. *Löwin*.

‘медведь’: 1. *Bar* m., 4. *Bärin*.

‘дикий кабан’: 1. *Wildschwein*, 2. *Keiler*, *Wildeber*, 4. *Bache*, 7. *Frischling*.

‘голубь’: 1. *Taube* f., 2. *Täuber*, *Täuberich*, 4. *Täubin*.

‘заяц’: 1. *Hase* m., 2. *Rammeler*, 4. *Häsin*.

‘обезьяна’: 1. *Affe* m., 4. *Äffin*.

‘волк’: 1. *Wolf* m., 4. *Wölfin*.

Способы, с помощью которых построены арабские видовые парадигмы (т.е. способы выражения пола и возраста животных), практически не отличаются от представленных в английском и немецком языках. Отличие состава арабской МВП (т.е. реализующихся в ней комбинаций значений пола и возраста) от состава англо-немецкой, можно сказать, «навязано», во-первых (наличие клеток №№ 8 и 10), грамматикой арабского языка, во-вторых (клетки №№ 2 и 3), — его чрезвычайно богатым и выразительным лексическим составом, в-третьих (отсутствие в арабском неаналитических названий кастратов — клетка № 3 англо-немецкой МВП) — по-видимому, религиозными причинами.

В арабском языке, в отличие от английского и немецкого, морфологический способ может применяться не только к названию вида, но и к другим членам видовой парадигмы. Это связано прежде всего с относительной (но не абсолютной!) регулярностью образования имен существительных женского рода от соответствующих имен существительных мужского рода, обозначающих людей и животных. Существительное женского рода характеризуется наличием в своем составе суффикса *-at-* — это его регулярный морфологический показатель. При «прочих равных» лицо или особь мужского пола обозначается существительным мужского рода, а лицо или особь женского пола — существительным женского рода. Поэтому так часто внутри видовых парадигм встречается морфологический способ выражения женского пола; по той же причине в арабской МВП есть клетки №№ 8 и 10 — названия, соответственно, детеныша-самца и детеныша-самки, противопоставленные клетке № 9 — названию детеныша вне пола (последнее применимо к особям обоих полов); и именно поэтому распространен способ полисемии для образования названия взрослого самца от названия вида, если последнее — мужского рода. Морфологический способ выражения женского пола может применяться почти ко всем членам видовой парадигмы, обозначающим особи мужского пола, например: *tawrun* 'бык' (взрослый самец) — *tawratun* 'корова', *bakrun* 'молодой верблюд' (молодой самец) — *bakratun* 'молодая верблюдица', *mihrun* 'жеребенок-самец' (детеныш-самец) — *mihratun* 'жеребенок-самка'; но его применение возможно не всегда (ср. отсутствие пары к названию старого быка).

Что касается наблюдаемого в английском и немецком языках соответствия между размером данной видовой парадигмы и значимостью соответствующего животного в данной культуре, то в арабском, по полученным данным, оно отсутствует. И в английском, и в немецком довольно четко выделяются группы лексем с определенным размером парадигмы, обозначающих сходных по «прагматическим» функциям животных — в английском лошадь, курица, корова, свинья, овца, как самые полезные, обозначаются лексемами с 7-членной видовой парадигмой, утка, гусь, собака, кошка, коза (и олень), как не столь разносторонне используемые человеком, —

лексемами с 4-членной, осел — лексемой с 3-членной; наконец, не имеющие сельскохозяйственной и селекционной ценности тигр, лев, медведь и прочие дикие животные «довольствуются» лексемами с 2- или 1-членной парадигмой. В немецком более дробная, но в целом аналогичная иерархия: корова обозначается лексемой с 7-членной видовой парадигмой, курица, лошадь, свинья — с 5-членной, собака, кошка, утка, гусь, овца, олень — с 4-членной, коза, осел, лиса, заяц, голубь — с 3-членной, обезьяна, волк, медведь, тигр — с 2-членной и «совсем дикие» куница, кенгуру и прочие — с 1-членной видовой парадигмой. В арабском полученные группы хорошему описанию не поддаются: лишь выделенное для арабов животное — верблюд, — в соответствии с ожиданиями, оказалось рекордсменом по размеру парадигмы (7 членов), для остальных ситуация следующая: корова, овца — 6 членов в видовой парадигме; лошадь, утка, собака, коза, осел, тигр, медведь, волк — 5; курица, свинья, кошка, лиса, лев, голубь, заяц, газель — 4; гусь, слон — 3 члена в видовой парадигме.

Замеченная в английской и немецкой системах зависимость преобладающих способов выражения пола и возраста от размера видовой парадигмы для арабского также нехарактерна. В самых крупных английских и немецких парадигмах преобладает супплетивный способ, в менее крупных — морфологический, в еще менее крупных — способ полисемии и псевдоаналитический; для арабского подобная связь не прослеживается. Общая же иерархия употребительности способов выражения пола и возраста в арабском существует и сходна с двумя другими, в особенности с немецкой. Вот процентное соотношение способов в рамках видовых парадигм 14 лексем (корова, овца, лошадь, утка, собака, коза, осел, тигр, курица, свинья, кошка, лиса, лев, гусь):

	Англ.	Нем.	Араб.
Супплетивный	74 %	63 %	51 %
Морфологический	10 %	27 %	25 %
Полисемия	14 %	9 %	16 %
Псевдоаналитический	2 %	1 %	8 %

Что касается количественной раскладки, то по употребительности морфологического способа языка с грамматической категорией рода (немецкий и арабский) значительно опережают язык, в котором она отсутствует (английский). В арабском, вопреки ожиданиям (см. выше замечание — теоретически оправданное ([Белкин 1975] и [Гранде 1963] — о богатстве словарного состава арабского языка), не особенно распространен супплетивный способ (всего 51 % при 74 % в английском и 63 % в немецком), зато чаще встречается псевдоаналитический.

Итак, в данной работе сделана попытка исчисления способов выражения пола и возраста в названиях животных в арабском языке с помощью введения классификации этих названий в соответствии с полом и возрастом их денотатов, а также попытка сравнения результатов полученной классификации с результатами сделанной ранее для английского и немецкого языков.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю Раисе Иосифовне Розиной и очень признателен Николаю Викторовичу Перцову и Максиму Анисимовичу Кронгаузу за ценные замечания по содержанию работы.

Литература

- Белкин 1975 — Белкин В.М. Арабская лексикология. — М., 1975.
 Гранде 1963 — Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. — М., 1963.
 Кронгауз 1996 — Кронгауз М.А. *SEXUS*, или проблема пола в русском языке // Русистика. Славистика. Индоевропеистика. — М. 1996.
 Кубрякова 1990 — Кубрякова Е.С. Парадигма // Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 1990.
 Розина 1982 — Розина Р.И. Принципы классификации в лексической семантике (имя существительное): Научно-аналитический обзор. — М., 1982.

Использованные словари

- Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. — М., 1985.
 Борисов В.М. Русско-арабский словарь. — Под редакцией В. М. Белкина. — М. 1993.
 Al-munjidu fi-l-lugati wal-^{si}ilmi, at-^{si}tab^{si}atu at-^{si}tāniyyatu wal-^{si}išrūna. — Bairūtu, 1986.
 Collins Cobuild English Language dictionary. — London—Glasgow, 1987.
 Dornseiff F. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. — Berlin—New York, 1970.

В. Д. Соловьев, В. Р. Байрашева

V. D. Solovjĕv, V. R. Bajraševa

Об атрибутивных конструкциях
 с существительными в татарском языке

On the attributive noun constructions
 in Tatar

I. В современной лингвистике весьма хорошо разработана теория дополнений и актантов глаголов. В традиционных грамматиках используется классификация дополнений, включающая понятия прямого и косвенного дополнений. Эти понятия лежат в основе реляционной грамматики [Perlmutter (ed.) 1983]. Классификация семантических актантов глаголов стала особенно популярной после классической работы Ч. Филлмора [Филлмор 1981]. В то же время не существует теории определений, которая могла бы быть хоть в какой-то мере сопоставима с теорией дополнений. Видимо, имеются объективные трудности, препятствующие построению универсальной теории определений.

Данная статья посвящена определениям в татарском языке, выраженным существительными. Атрибутивные синтаксические отношения между существительными выражаются в татарском языке при помощи аффиксов, послелогов и порядка слов.

Основное внимание в статье уделяется построению классификации определений и описанию применимых к ним синтаксических трансформаций.

II. Две классификации атрибутивных конструкций.

Мы предложим ниже две классификации атрибутивных конструкций с существительными в татарском языке: синтаксическую и семантическую.

II.1. Синтаксическая классификация атрибутивных конструкций.

Приведем сначала общие сведения об аффиксации в татарском языке, необходимые для понимания дальнейшего изложения.

В силу закона сингармонизма [Татарская грамматика 1993: 76], аффиксы могут выступать в разных фонетических вариантах (алломорфах) в зависимости от фонетических свойств основы, к которой они присоединяются. Так, скажем, посессивный аффикс (в третьем лице) после согласной выступает в двух вариантах: твердом *-ы* и мягком *-е*; если же посессивный аффикс присоединяется к основе, оканчивающейся на гласную, то он принимает вид *-сы* или *-се*.

Условимся о следующей системе обозначений, принятой в тюркологии: при упоминании аффикса в составе глосс он будет представлен одним из вариантов (в качестве канонического), при этом варьируемые буквы в составе аффикса будут заглавными, а необязательные буквы в составе аффикса будем помещать в квадратные скобки. Таким образом, посессивный аффикс в принятой системе обозначений имеет вид: *-[с]Ы*, а аффикс так называемого, исходного падежа — вид *-Дан* (варианты: *-дан/-дэн, -тан/-тэн, -[н]нан/-[н]нэн*).

Как правило, аффикс присоединяется к зависимому члену синтаксического отношения, в частности, в атрибутивных конструкциях он присоединяется к определению. Исключение составляет посессивный аффикс *-[с]Ы* (poss.), традиционно именуемый в татарской филологии аффиксом принадлежности, который присоединяется к определяемому (главному члену синтаксического отношения). Возможен и вариант, когда аффиксами притяжательного падежа (генитив) *-НЫ* (*-нын/-нең*) и принадлежности маркируются оба члена атрибутивной конструкции.

В татарском языке общепринятым является выделение шести падежей [Закиев 1992: 41]:

номинатив (nom.): показатель нулевой -∅;
притяжательный — генитив (gen.-1): аффикс *-НЫ*;
направительный — датив (dat.): *-ГА* (*-га/-гә, -ка/-кә, -на/-нә*);
винительный — аккузатив (acc.): *-НЫ* (*-нын/-не*);
исходный — аблатив (abl.): *-Дан*;
место-временной — локатив (loc.): *-ДА* (*-да/-дә, -та/-тә, -[н]да/-[н]дә*).

Из аффиксов традиционных падежей для маркировки атрибутивных отношений между существительными используются аффиксы притяжательного падежа *-НЫ* и исходного падежа *-Дан*.

Аффикс исходного падежа *-Дан* может маркировать как актантные, так и атрибутивные синтаксические отношения. В данной статье аффикс *-Дан* рассматривается лишь как маркер атрибутивных отношений. В этом качестве он имеет следующую семантику:

Х-Дан Y означает 'Y, состоящий (изготовленный) из X-а'.

Кроме аффиксов «канонических» падежей, к основам татарских существительных присоединяются так называемые «падежеподобные» аффиксы, которые традиция выводит из состава падежных аффиксов в силу некоторых отличий синтаксических свойств их словоформ от синтаксических свойств словоформ с нормальными падежными суффиксами. Согласно [Закиев 1992: 41–42; Тумашева, Ирисов 1989: 4], падежеподобными являются аффиксы: *-ЛЫ* (*-лы/-ле*, комитатив — comit.), *-СЫЗ* (*-сыз/-сез*, приватив — priv.), *-ДАГЫ* (*-дагы/-дәге, -тагы/-тәге, -[н]дагы/-[н]дәге*, атрибутивный локатив — atr. loc.), *-НЫКЫ* (*-ныкы/-неке*, генитив-2 — gen.-2). Прототипические значения этих аффиксов следующие:

Х-ЛЫ Y — 'Y с X-ом';

Х-СЫЗ Y — 'Y без X-а';

Х-ДАГЫ Y — 'Y, расположенный в X';

В отличие от локатива, маркирующего дополнение и обстоятельства, аффикс *-ДАГЫ* маркирует определения. У аффиксов с подобными свойствами нет устоявшегося названия. Мы предлагаем называть его атрибутивным локативом, сокращенно — atr. loc.

Х Y-НЫКЫ — 'X, принадлежащий Y'.

В [Закиев 1992: 38] аффикс *-нЫкЫ* назван вторым аффиксом притяжательности. В данной работе он будет обозначаться как генитив-2. Отличие его от обычного генитива поясняет следующий пример:

<i>булма эти-неке</i>	~	<i>эти-нең булма-се</i>
комната отец-gen.-2		отец-gen.-1 комната-poss.
'комната отца'		'отцова комната'

Важную роль в татарском языке играет и порядок слов — в том числе, в так называемых, изафетных конструкциях. Как и в других тюркских языках, выделяется три типа изафета [ЛЭС 1990: 172; Майзель 1957].

Изафетом первого типа (сокращенно изафет-1 или изф.-1) называется словосочетание, состоящее из двух рядом расположенных существительных (первое из которых является определением второго) без морфологических средств маркировки отношения между ними. Структурно это может быть изображено следующим образом: $N1 \leftarrow N2$, где $N1, N2$ — основы существительных. Например, *алтын балдак* 'золотое кольцо'.

Изафетом второго типа (сокращенно изафет-2 или изф.-2) называется словосочетание, состоящее из двух рядом расположенных существительных, связь между которыми маркируется посредством аффикса принадлежности *-[с]Ы*, присоединяемого ко второму слову пары. Структурная формула: $N1 \leftarrow N2-[с]Ы$. Пример — *урындык арт-ы* 'спинка стула'. Изафеты этих двух типов, таким образом, исключают падежную маркировку первого члена пары.

Изафетом третьего типа (сокращенно изафет-3 или изф.-3) называется словосочетание, состоящее из двух существительных (не обязательно расположенных рядом), связь которыми ими маркируется аффиксом принадлежности, присоединяемым ко второму слову пары, и аффиксом притяжательного падежа, присоединяемым к первому слову пары. Структурная формула: $N1-нЫн \leftarrow N2-[с]Ы$. Пример — *укучы-ның kitab-ы* 'книга ученика'. Изафет третьего типа является одновременно и генитивной конструкцией.

К средствам маркировки синтаксических отношений между существительными относятся падежные и падежеподобные аффиксы, послелоги, порядок слов.

Изафетные конструкции обозначаются так, как было указано выше: изф.-1, изф.-2, изф.-3. Прочие атрибутивные конструкции обозначаются в соответствии с оформлением (падежным или падежеподобным) их зависимого члена; однако, чтобы отличить обозначение, относящееся к самому показателю, от обозначения соответствующей конструкции, это последнее заключается в кавычки. Тем самым, например, *abl.* — это падеж аблатив, а «*abl.*» — это атрибутивная конструкция, зависимый член которой оформлен аблативом.

Синтаксическая классификация атрибутивных конструкций включает 8 типов:

1. Изафет-1 (изф.-1): $N1 \leftarrow N2$;
2. Изафет-2 (изф.-2): $N1 \leftarrow N2-[с]Ы$;
3. Комитатив («*comit.*»): $N1-лЫ \leftarrow N2$;
4. Приватив («*priv.*»): $N1-сЫз \leftarrow N2$;
5. Атрибутивный локатив («*atr. loc.*»): $N1-ДагЫ \leftarrow N2$;
6. Изафет-3 (зависимый член в генитиве-1) (изф.-3): $N1-нЫн \leftarrow N2-[с]Ы$;
7. Содержащая зависимый член в генитиве-2 («*gen.-2*»): $N1 \rightarrow N2-нЫкЫ$;
8. Аблатив («*abl.*»): $N1-Дан \leftarrow N2$.

Два существительных могут входить в атрибутивные конструкции различных типов (это будет обсуждено ниже).

Мы рассматриваем морфологически («аффиксально») маркируемые отношения. Атрибутивные отношения могут маркироваться также послелогами. Например,

<i>күрәк</i>	<i>күк</i>	<i>сакал</i>
лопата	как	борода
'борода, как лопата'		

здесь определение маркировано послелогом *күк* 'как'. Такие отношения требуют отдельного изучения.

II. 2. Семантическая классификация атрибутивных конструкций.

В области искусственного интеллекта предпринимались попытки выделения базовых семантических отношений между объектами. Так, например, в [Шенк 1980: 51] дан ряд отношений, в том

числе следующие, имеющие атрибутивную семантику (в [Шенк 1980] использована другая форма записи этих отношений):

PART (X, Y) — 'X является неотъемлемой частью Y-а';

POSS (X, Y) — 'X обладает (временно) Y-ом';

OWNERSHIP (X, Y) — 'X является собственностью (в юридическом смысле) Y-а';

CONTAIN (X, Y) — 'X содержит (физически) Y';

LOCATION (X, Y) — 'X расположен в Y'.

Приведем примеры реализации этих отношений в татарских атрибутивных конструкциях.

1. PART

уриндык арт-ы

стул спинка-poss.

'спинка стула'.

2. POSS

портфель-ле кеше

портфель-comit. человек

'человек с портфелем'.

3. CONTAIN

Су-лы стакан

вода-comit. стакан

'стакан с водой'.

4. OWNERSHIP

укучы-нын китаб-ы

ученик-gen.-1 книга-poss.

'книга ученика'.

5. LOCATION

урман-дагы чәчәк-ләр

лес-atr. loc. цветок-pl.

'цветы в лесу'.

Адаптируем данную систему отношений для целей настоящего исследования.

В [Шенк 1980] отношение LOCATION понимается весьма широко, в частности, оно может связывать различные актанты глаголов. Так, в ситуации 'Джон живет в Чикаго' 'Джон' и 'Чикаго' находятся в отношении LOCATION. В данной работе мы рассматрива-

ем это отношение лишь в его атрибутивной манифестации. При таком ограничении отношения LOCATION и CONTAIN являются взаимно инверсными отношениями, т.е. LOCATION (X, Y) = CONTAIN (Y, X). Так во фразе *Он шел с мячом в руке* объекты 'мяч' и 'рука' находятся в отношениях LOCATION (мяч, рука) и CONTAIN (рука, мяч). Поскольку с точки зрения семантики естественно рассматривать отношения между аргументами без учета порядка их следования, то одновременное использование обоих этих отношений является избыточным. Поэтому в рамках нашего изложения остается одно отношение — CONTAIN.

Различие в отношениях POSS и OWNERSHIP лежит скорее в области прагматики, чем в области семантики, и может быть понято на основе общих знаний о мире. Например, рассматривая изолированное словосочетание *книга ученика* мы не можем сказать, принадлежит ли книга ученику или он лишь временно ей пользуется. В последующем анализе отношения POSS и OWNERSHIP объединяются в единое семантическое отношение — POSS.

Дополним эту систему семантических отношений еще одним новым отношением — COMPOSITION.

COMPOSITION (X, Y) означает: 'X является веществом, из которого сделан Y или является компонентами Y-а'.

Примеры реализации отношения COMPOSITION:

алтын балдак

золото кольцо

'золотое кольцо'.

чиләк-нең кала-е

ведро-gen.-1 железо-poss.

'железо ведра'.

солдат-лар-дан отряд

солдат-pl.-abl. отряд

'отряд солдат'.

Перечисленные выше четыре отношений — POSS, PART, CONTAIN, COMPOSITION — задают семантическую классификацию отношений между существительными в атрибутивных конструкциях. Конечно, данная классификация далеко не охватывает семантику всех видов атрибутивных конструкций в татарском языке. Все

многообразии отношений в реальном мире вообще трудно описать небольшим числом категорий. Однако описанный набор отношений претендует на то, что он содержит все наиболее важные с языковой точки зрения отношения. Вероятно, в большинстве языков эти отношения тем или иным способом кодируются. В частности, как будет видно из дальнейшего, данный набор семантических отношений кодируется в татарском языке весьма регулярным способом.

III. Изафет первого/второго рода vs. падежи.

Одно и то же семантическое отношение может быть выражено синтаксически различными способами. Например, *алтын балдак* 'золотое кольцо' и *алтын-нан балдак* 'кольцо из золота'. Первое из приведенных словосочетаний — изафет первого типа (отношение номер 1 в введенной выше — в п. II.1 — синтаксической классификации), второе содержит в качестве определения — существительное в косвенном (в данном случае исходном) падеже (отношение номер 8 в синтаксической классификации).

Сопоставим собственно изафетные и падежные способы выражения одного и того же семантического отношения. В рамках данного сопоставления конструкция, названная выше изафетом третьего типа (изф.-3), отнесена к падежному способу, поскольку в ней аффикс *-ның* является аффиксом притяжательного падежа (генитива-1).

Отметим два основных синтаксических отличия изафета третьего типа от изафетов первого и второго типов:

- определение маркируется косвенным падежом;
- определение не обязано располагаться непосредственно перед определяемым.

Введем понятие набора синтаксических конструкций, связанного с данным семантическим отношением.

Будем называть множество синтаксических конструкций, выражающих некоторое семантическое отношение, набором при выполнении следующего условия: если какая-то (упорядоченная) пара лексем может быть связана одной из входящих в набор синтаксических конструкций, то она может быть связана и другой конструкцией этого набора.

В рамках семантического отношения PART таким набором является множество [изф.-2, изф.-3]. Например, *урындык арт-ы* и *урындык-ның арт-ы* 'спинка стула'. Тот же набор связан и с семантическим отношением POSS. Например, *Тимур китаб-ы* и *Тимур-ның китаб-ы* 'книга Тимура'.

В рамках семантического отношения COMPOSITION это множества [изф.-1, «abl.»] и [изф.-2, «abl.»], а также множество [изф.-2, изф.-3].

Любая пара слов с семантическим отношением COMPOSITION связывается, в зависимости от порядка следования, либо синтаксическими конструкциями из множества [изф.-1, «abl.»] или из множества [изф.-2, «abl.»] (но не теми и другими вместе), либо из множества [изф.-2, изф.-3].

Пример набора [изф.-1, «abl.»]:

<i>таш күпер</i>	<i>таш-тан күпер</i>
камень мост	камень-abl. мост
'каменный мост'	'мост из камня'

Пример набора [изф.-2, «abl.»]:

<i>ком тав-ы</i>	<i>ком-дан тау</i>
песок гора-poss.	песок-abl. гора
'гора песка'	'гора из песка'

Пример набора [изф.-2, изф.-3]:

<i>чиләк кала-е</i>	<i>чиләк-ның кала-е</i>
ведро железо-poss.	ведро-gen.-1 железо-poss.
'железо ведра'	'железо ведра'

Зачем же языку понадобились разные способы выражения одного и того же смысла? Очевидно, должны существовать синтаксические различия между элементами выделенных наборов, влияющие на способ их употребления.

Основное синтаксическое различие состоит в следующем. В случае, когда определение выражено существительным в косвенном падеже, оно, в свою очередь, допускает при себе собственные определения, будучи же первым членом изафета-1 или изафета-2 — не допускает.

Например, словосочетание со значением 'мост из черного камня' может быть выражено в татарском лишь в форме *кара таш-*

тан күпер, но не в форме кара таш күпер. Последнее будет означать 'черный каменный мост', т.е. определение кара будет относиться к существительному күпер 'мост', а не к слову таш 'камень'.

Аналогично обстоит дело в том случае, когда оба существительных, входящих в изафет, имеют при себе собственные определения. Например, русское словосочетание *обручальное кольцо из червонного золота* не удастся перевести на татарский при помощи изафета-1 или изафета-2:

*кызыл алтын никах балдаг-ы
красное золото обручальный кольцо-poss.,

но легко можно выразить падежными средствами:

кызыл алтын-нан никах балдаг-ы
красное золото-abl. обручальный кольцо-poss.

Существуют и смысловые (референтные) различия между элементами выделенных наборов. Изафет-1 и изафет-2 используются более абстрактным образом для описания общих свойств объектов, а падежные формы — для обозначения отношений между реальными объектами.

Возьмем фразу

Урындык-ның арт-ы бизэклэнгән, ә аяк-лар-ы
стул-gen.-1 спинка-poss. разукрашен а ножка-pl.-poss.
бизэклэнмәгән.
не-украшены

'Спинка стула разукрашена, а ножки — нет'.

Здесь речь идет о некотором конкретном стуле и о его (реальной!) спинке. Эти два объекта связаны отношением фактической принадлежности, и для его маркировки использована падежная форма.

С другой стороны, во фразе

Урындык арт-лар-ы бишенче цех-та ясала-лар.
стул спинка-pl.-poss. пятый цех-loc. изготавливается-pl.

'Спинки стульев изготавливаются в пятом цехе'.

принадлежность спинок стульям эвентуальная [Майзель 1957], а не фактическая. Для ее выражения использован изафет.

IV. Синтаксические трансформации атрибутивных конструкций.

К числу важных свойств членов синтаксической конструкции относится способность участвовать в тех или иных синтаксических трансформациях. Рассмотрим синтаксические трансформации, меняющие синтаксические роли определяемого и определения в атрибутивной конструкции. При этом должна сохраняться некая общность, объединяющая определение и определяемое, входящие в состав исходной атрибутивной конструкции. Описанные в предыдущем параграфе наборы синтаксических конструкций ниже будут рассматриваться как единое целое, без учета различий в свойствах элементов набора. Выделим три вида подобных преобразований: референциальная инверсия, тема-рематическая инверсия и трансформация подчинения.

Референциальной инверсией назовем синтаксическую трансформацию, при которой определяемое занимает позицию определения и наоборот. При этом требуется, чтобы референты определяемого и определения не менялись. В то же время, естественно, меняется референт словосочетания, состоящего из определения и определяемого. Например, *кольцо из золота* ↔ *золото кольца*.

Этот вид инверсии имеет место тогда, когда мы как бы меняем точку зрения на комплекс, состоящий из референтов определения и определяемого, переходя от одного из них к другому, но не меняя самих референтов.

Отметим, что существуют и такие трансформации, которые внешне схожи с рассматриваемыми в данной статье, но отличаются от них тем, что в них имеет место изменение референтов входящих в трансформируемую конструкцию слов. Например, *брат ученика* ↔ *ученик брата*. Первое словосочетание относится к ученику говорящего (и его брату), второе же — к брату говорящего (и его ученику), а это совсем разные объекты.

Тема-рематической инверсией назовем синтаксическую трансформацию, которая меняет отношение определяемого и определения к теме или реме высказывания на противоположное, и при этом нет референциальной инверсии.

Например,

бүлмә әти-неке ↔ әти-нең бүлмә-се
комната отец-gen.-2 отец-gen.-1 комната-poss.
'комната отца' 'отцова комната'

В отличие от второго словосочетания, первое обычно употребляется тогда, когда новая информация сообщается словом *этинек* 'отца'.

Трансформацией подчинения назовем синтаксическую трансформацию, при которой определение и определяемое меняются ролями (без изменения маркировки и, в частности, без референциальной инверсии, но с изменением относительного месторасположения во фразе), и при этом новое «определяемое» подчиняет целую составляющую предложения, в состав которой входит новое «определение».

Например, *крыша сарая* ↔ *сарай, крыша которого...* Этот пример на материале русского языка поясняет идею данной трансформации, но, в отличие от татарского языка, слово *сарай* изменило маркировку.

Рассмотрим перечисленные трансформации подробнее.

1. Референциальная инверсия.

Перечислим все случаи референциальной инверсии, связывающей рассматриваемые в данной статье атрибутивные отношения.

- (а) *урындык арт-ы, урындык-нын арт-ы* ↔
стул спинка-poss., стул-gen.-1 спинка-poss.
 'спинка стула'
 ↔ *арт-лы урындык*
спинка-comit. стул
 'стул со спинкой'

Эту инверсию можно символически записать следующим образом: {изф.-2, изф.-3} ↔ «comit.». Данная инверсия применима к паре существительных, находящихся в семантическом отношении PART.

- (б) *су-лы стакан* ↔ *стакан-дагы су*
вода-comit. стакан *стакан-atr. loc. вода*
 'стакан с водой' 'вода в стакане'.

Эту инверсию можно записать так: «comit.» ↔ «atr. loc.» Она применима к паре существительных, находящихся в отношении CONTAIN.

- (в) *кулмэк-ле кыз* ↔
платье-comit. девушка
 'девушка в платье'
 ↔ *кыз-нын кулмэг-е, кыз кулмэг-е*
девушка-gen.-1 платье-poss., девушка платье-poss.
 'платье девушки'

Данная инверсия применима к паре существительных, находящихся в семантическом отношении POSS. Символическая запись: «comit.» ↔ {изф.-3, изф.-2}.

- (г) *алтын балдак, алтын-нан балдак* ↔
золото кольцо золото-abl. кольцо
 'золотое кольцо' 'кольцо из золота'
 ↔ *балдак-нын алтын-ы, балдак алтын-ы*
кольцо-gen.-1 золото-poss., кольцо золото-poss.
 'золото кольца'

Данная инверсия применима к паре существительных, находящихся в семантическом отношении COMPOSITION. Символическая запись: {изф.-1, «abl.»} ↔ {изф.-2, изф.-3}.

- (д) *ком тав-ы, ком-нан тау* ↔
песок гора-poss., песок-abl. гора
 'гора песка' 'гора из песка'
 ↔ *тау ком-ы, тау-нын ком-ы*
гора песок-poss., гора-gen.-1 песок-poss.
 'песок горы'

Данная инверсия также применима к существительным, находящимся в семантическом отношении COMPOSITION. Символическая запись: {изф.-2, «abl.»} ↔ {изф.-2, изф.-3}.

Эти примеры демонстрируют следующую закономерность: референциальная инверсия не является «однородной» по своему характеру трансформацией, т.е. действующей одинаково, независимо от семантики аргументов. Примером «однородной» трансформации является пассивизация, применимая, с одинаковым результатом, к любому предложению с подлежащим и прямым дополнением, независимо от их семантики. Референциальная же инверсия зависит от семантики отношения, к которому она применяется.

Возьмем атрибутивную конструкцию изафет-2 (изф.-2). Выражая семантическое отношение PART или POSS, она может быть трансформирована по схемам (а) и (в) в «comit.»; выражая отношение COMPOSITION, она может быть трансформирована либо по одной из схем (д) в «abl.», тоже в изф.-2 или изф.-3, либо по одной из схем (г) в изф.-1 или в «abl.».

В других же своих значениях оно вообще не инвертируется. Например, *юл плац-ы* 'дорожный плац'. Словосочетания с этой семантикой — назначение предмета (не включенной в данной статье в число базовых) — не трансформируемы.

Это обосновывает необходимость — для корректного описания операции трансформации — введенной выше семантической классификации атрибутивных отношений.

Референциальная инверсия является преобразованием, включающим:

- 1) изменение порядка слов в исходном атрибутивном отношении на обратный,
- 2) изменение маркировки в соответствии с одной из схем, указанных в случаях (а) — (д).

Как и другие трансформации, референциальная инверсия встречается в связном тексте. В качестве примера укажем один грамматический процесс, в котором участвует референциальная инверсия.

В рамках организации текста как связного образования используется упоминание в предложении некоторого объекта из предшествующей фразы, при этом возможно появление у слова, обозначающего упомянутый объект, определений, воспроизводящих определенную часть информации из предшествующей фразы.

Пример: *Биек арт-лы урындык тэрэзэ янында тора. Урындык-нын арт-ы бизакланган* 'У окна стоит стул с высокой спинкой. Спинка стула разукрашена'.

Связность текста обеспечивается упоминанием во второй фразе спинки стула — именно того стула, о котором идет речь в первой фразе. Очевидно, что здесь в чистом виде применяется референциальная инверсия.

2. Тема-рематическая инверсия.

Рассмотрим две фразы:

Бу бүлмэ эти-неке, э бу абый-ныкы.

Это комната отец-gen.-2 а это брат-gen.-2

'Это комната отца, а это — брата'.

Бу эти-нең бүлмэ-се, э бу эти-нең

Это отец-gen.-1 комната-poss. а это отец-gen.-1

култыксалы урындыг-ы.

кресло-poss.

'Это папина комната, а это папино кресло'.

Отношение между словами *эти* 'отец' и *бүлмэ* 'комната' в обоих фразах семантически одно и то же — это отношение собственности POSS. Однако разница в синтаксическом оформлении этого отношения — выбор аффикса *-ныкы* или *-ның* и порядка слов — связана с тема-рематическим членением фразы.

В первой из этих фраз новая информация заключается в словах *эти-неке* 'отца', *абый-ныкы* 'брата'. Это рема высказывания, выделяемая интонационно и располагаемая ближе к концу фразы. Во второй же — новая информация содержится в словах *бүлмэ-се* 'комната' и *култыксалы урындыг-ы* 'кресло', также являющихся ремой высказывания, в то время как *эти-нең* является темой.

Это наблюдение носит общий характер: слова с аффиксом *-ныкы* относятся к реме сообщения, слова же с аффиксом *-ның* могут входить в состав ремы совместно с подчиняющим словом, а могут и не входить, как в вышеприведенном примере.

Таким образом, трансформация *эти-нең бүлмэ-се* 'папина комната' ↔ *бүлмэ эти-неке* 'комната отца' изменяет потенциальную возможность слов стать темой или ремой сообщения, и именно в этом смысле трансформация изф.-3 ↔ «gen.-2» названа тема-рематической инверсией.

Для нее характерно изменение порядка слов на обратный и смена маркировки определяемого и определения. При этом не происходит референциальной инверсии.

3. Трансформация подчинения.

Пример.

сарай түбә-се

сарай крыша-poss.

'крыша сарая'.

Управление в этом словосочетании может быть описано структурой: *сарай* ← *түбә-се* 'сарая' ← 'крыша'. При инвертировании подчинения в этом словосочетании возникает структура: *түбә-се* ← *сарай* 'крыша' ← 'сарай', которая не интерпретируется непосредственно, т.е. словосочетание *түбәсе сарай* является неправильным. Однако возможна структура: *түбә-се* ← С ← *сарай* 'крыша' ← С ← 'сарай', где С обозначает некоторую составляющую предложения. Так, во фразе: *Түбәсе жимерелгән сарай файдасыз* 'Сарай, крыша которого разрушена, бесполезен' составляющей С является так называемое спаянное предложение — *түбә-се жимерелгән* 'крыша разрушена'. В этом примере *сарай* является, очевидно, определяемым, а *түбә-сы жимерелгән* 'крыша разрушена' определением, ядром которого является слово *түбә-сы* 'крыша (его)'. Во многих случаях спаянные предложения татарского языка переводятся на русский конструкциями со словом *который* и представляют собой относительные (релятивные) обороты.

Релятивизация в татарском языке, таким образом, может быть связана с трансформацией подчинения. Более подробное изучение релятивизации в татарском языке, однако, далеко выходит за рамки данной работы.

4. Для полноты картины выделим еще одну трансформацию атрибутивных конструкций, отличающуюся от рассмотренных выше тем, что при этой трансформации определение и определяемое не меняются ролями. Она связывает комитатив с привативом.

Аффикс приватива *-сыз* является антонимом аффикса комитатива *-лы*. В то время как остальные падежные и падежеподобные аффиксы являются логически независимыми, семантическое отношение, выражаемое аффиксом *-сыз*, представляется в виде отрицания отношения, выражаемого аффиксом *-лы*. Отношение 'X-сыз Y' эквивалентно записи 'не X-лы Y'.

Сравни:

китап-сыз шкаф ~ *китап-лы шкаф*

книга-priv. шкаф книга-comit. шкаф

'шкаф без книг'

'шкаф с книгами'.

Трансформацию «comit.» ↔ «priv.» назовем трансформацией отрицания. Эта трансформация включает смену аффикса и семантики (описываемую логически), но не меняет порядок слов.

V. Заключение.

В статье предложены две классификации атрибутивных конструкций в татарском языке — семантическая и синтаксическая. Синтаксическая классификация включает восемь типов конструкций — два изафета, две конструкции с падежными аффиксами: *-Дан* и *-нЫн* и четыре конструкции с падежеподобными аффиксами *-лы*, *-сыз*, *-нЫкЫ*, *-Дагы*. Семантическая классификация включает четыре основных типа семантических отношений и в значительной степени близка к набору семантических отношений теории концептуальной зависимости Р. Шенка.

При анализе синтаксических свойств выделенных атрибутивных конструкций установлено, что они тесно связаны друг с другом системой трансформаций. Показано, что эти трансформации могут участвовать в обеспечении связности текста и при построении относительных конструкций (релятивизации). Выделены трансформации четырех типов, представляющие собой четко описанные синтаксические преобразования с определенным набором свойств. Близость тюркских языков позволяет предположить, что результаты настоящей работы окажутся полезными для описания атрибутивных конструкций в других языках этой группы.

Аффиксы, маркирующие атрибутивные конструкции, используются аналогично тому, как падежные аффиксы используются для маркировки дополнений глаголов. В первом приближении может быть сформулирована гипотеза о существовании (в тюркских языках) двух падежных систем: одна из них (традиционная) обслуживает, в основном, актантные отношения, другая — атрибутивные. Для подтверждения этой гипотезы требуются тщательные исследования падежных свойств рассмотренных в данной статье аффиксов.

* * *

Авторы статьи выражают благодарность Ф. С. Сафиуллиной и А. А. Гильмуллину за помощь, способствовавшую существенному улучшению работы.

Литература

- Закиев 1992 — Закиев М.З. Татарская грамматика. Синтаксис. — Казань, 1992.
ЛЭС 1990 — Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 1990.
Майзель 1957 — Майзель С.С. Изафет в турецком языке. — М.—Л., 1957.
Татарская грамматика 1993 — Татарская грамматика. — Т. 1. — Казань, 1993.
Тумашева, Ирисов 1989 — Тумашева Д.Г., Ирисов Н.К. К вопросу о падежном характере аффиксов *-дагы* и *-ныкы* // Советская тюркология. — 1989. — №6.
Филлмор 1981 — Филлмор Ч. Дело о падеже // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 10. — М., 1981.
Шенк 1980 — Шенк Р. Обработка концептуальной информации. — М., 1980.
Perlmutter (ed.) 1983 — Perlmutter D. (ed.). Studies in relational grammar. — V. 1. — Chicago, 1983.

В. Я. Труфанова

V. Ya. Trufanova

О роли интонации в формировании значения устойчивых формул общения

About the role of intonation in forming
stable formulae of communication

I. Устойчивые формулы общения (УФО) — стереотипные высказывания, функционирующие в стереотипных ситуациях установления, поддержания и размыкания речевого контакта: это обозначения приветствий, благодарностей, извинений, прощаний и т.п. Языковая микросистема УФО традиционно рассматривается в пособиях по речевому этикету (см., в частности, [Формановская 1984; Акишина, Формановская 1986]), где содержатся структурно-семантические и функционально-стилистические характеристики ее единиц.

Одной из задач коммуникативно-прагматического описания данной микросистемы представляется анализ УФО с точки зрения того, каким образом в выборе говорящим конкретной единицы из существующего синонимического ряда УФО отражаются его коммуникативные намерения (интенции), прагматические, социокультурные, психологические и другие факторы, определяющие характер речевой ситуации.

Семантический потенциал УФО во всем объеме выше названных характеристик — так же, как и в любом устном высказы-

нии, — формируется в результате взаимодействия языковых средств разных уровней: лексики высказывания, его синтаксической структуры и интонации (о взаимодействии языковых уровней в образовании коммуникативного значения звучащего предложения см. [Брызгунова 1981]). В связи с устойчивостью лексического и синтаксического компонентов, формирующих значение формул общения, микросистема УФО особенно удобна для решения задачи выделения проявлений «человеческого фактора», переданных через варьируемую интонационную форму. Между тем системный анализ семантического вклада интонации в значение УФО до настоящего времени не проводился. В лингвистической литературе встречаются лишь разрозненные замечания о важной роли фонации в создании тональности общения и о сравнительной самостоятельности интонации в передаче стилистических и субъективно-модальных оттенков основных значений УФО [Формановская 1979; Гольдин 1983: 57].

Цель данной статьи — представить фактический материал звучащих УФО с различным объемом значения и поставить следующие вопросы:

- 1) об основных типах взаимодействия интонации с языковыми средствами других уровней при формировании значения УФО;
- 2) о семантических возможностях интонации в этом процессе;
- 3) о влиянии интонации УФО на организацию диалогического единства, а именно: о влиянии звучания реплики УФО-стимула на семантико-синтаксическую организацию реплики УФО-реакции.

В качестве материала для наблюдений послужили сделанные автором блокнотные записи спонтанной речи, тексты художественных произведений, а также магнитофонные записи спектаклей, радиопостановок, кинофильмов и телефильмов¹.

Так как формирование значения УФО протекает в сфере субъективной модальности, уместно рассмотреть вопрос о различиях в экспрессивно-стилистической природе языковых средств разных

¹ См. список сокращений в конце статьи.

уровней. Как известно, среди вербальных средств в связи с их понятийной и стилистической самостоятельностью можно выделить нейтральные, стилистически повышенные и стилистически пониженные (ср., например, *Здравствуйте ~ Приветствую вас ~ Привет*). Такое деление соответствует и ситуативно-стилистической прикрепленности вербальных средств, что отражается и в одном из определений УФО — «шаблоны в шаблонных ситуациях» [Формановская 1984]. Интонационные же средства имеют, напротив, связанные, абстрактные «ореолы значения»: понижение или повышение тона, например, само по себе не обладает ни коммуникативной, ни стилистической значимостью. В связи с этим при экспрессивно-стилистической маркировке интонационных средств на первый план целесообразно, видимо, выдвигать не качественные характеристики интонации, а количественные показатели ее соотносительности с ситуацией, т.е. частотность и узуальность. С этой точки зрения интонационный «шаблон» — это то, что создает нейтральный фон общения и не привлекает внимания собеседников. Слуховой анализ устанавливает, что наиболее универсальными акустическими характеристиками УФО в стилистически нейтральных ситуациях является полоса сравнительно ровного движения мелодики с динамическим усилением слога-центра, чему в системе интонационных конструкций соответствует одна из реализаций ИК 2². Ср. обычные по звучанию реплики: *Здравствуйте; Добрый вечер; Извините; Спасибо; До свидания*. Отступления от интонационного «нейтрала» меняют тональность общения, обогащая ее стилистическими и субъективно-модальными обертонами. Материал свидетельствует, что наиболее стилистически информативными для УФО являются такие параметры звучания, как направление мелодических изменений, их диапазон, уровень реализации (регистр), показатели темпоральные (ускорение/замедление) и динамические (усиление/ослабление громкости), а также сочетание интонационных изменений с артикуляционными: напряженностью/вялостью артикуляции, отчетливостью и полнотой ее фаз или их редуцированностью, плавной или отрывистой связью сегментов и др.

² Для удобства читателей в разделе Приложение приводится описание системы ИК, заимствованное из энциклопедии [Русский язык 1979].

С учетом типичности и частотности подобных изменений интонации в разных по стилю ситуациях у некоторых акустических изменений в УФО могут быть выявлены сравнительно независимые экспрессивно-стилистические функции. Так, направление тона вверх от «нейтральной полосы» служит усилению обращенности, непринужденности, разговорности УФО, вниз от «нейтрала» — усилению категоричности, настороженности, официальности. Плавные мелодические изменения работают на повышение стиля, резкие — на снижение.

Принимая во внимание сказанное, обратимся к процессу формирования значения УФО. Представляется, что при всем экспрессивно-стилистическом многообразии разноуровневых языковых средств их взаимодействия могут быть типизированы. По направлению экспрессивно-стилистического действия вербальных средств, с одной стороны, и интонационных — с другой, можно установить такие типы отношений между ними:

- 1) как вербальные, так и интонационные средства в УФО стилистически нейтральны;
- 2) одна из сторон этого взаимодействия стилистически маркирована при нейтральности другой;
- 3) обе стороны маркированы и стилистически однонаправлены (например, стилистически повышенные вербальные средства сочетаются с интонационными, «работающими» на повышение стиля);
- 4) обе стороны маркированы и разнонаправлены (например, стилистически повышенные вербальные средства сочетаются с интонационными, «работающими» на понижение стиля).

Рассмотрим каждый из этих типов взаимодействия языковых средств при формировании значения УФО подробнее.

II. Соотносительная нейтральность вербальных и интонационных средств в УФО — преобладающая тенденция в оформлении этого класса коммуникативных единиц. Данный тип соотношения в наибольшей степени служит автоматизированному проявлению в речи фатической функции без подчеркивания и выявления дополнительных прагматических оттенков контакта.

Однако обоюдная нейтральность языковых средств разных уровней может вести к деформации УФО в потоке речи. Изменения

формы проявляется чаще в сокращении сегментного состава реплики вплоть до слога, а иногда и звука. Так, в разговорной речи обращение *здравствуйте* в крайней стадии редукиции бывает представлено удлинненным свистящим [s'] [PPP 1973: 122]. Редукиции способствуют, с одной стороны, особенности фонации УФО (ровная мелодика с одним импульсом выделенности центра и ускорением темпа), а с другой — категориальные особенности УФО: автоматизм употребления, малая информативность, высокая ситуативная предсказуемость. Явление деформации можно рассматривать как своеобразную ступеньку к десемантизации УФО, когда она имеет самое общее, понятное из ситуации обозначение фазы контакта (например, приветствия или прощания). Если обратиться к особенностям восприятия деформированных УФО, можно заметить, что их сжатие или усечение, будучи явлением разговорным, все же не выводит такие высказывания из сферы общих проявлений вежливости. Материал наблюдений не содержит негативных реакций на такого рода изменения. Напротив, отсутствие какого-нибудь звукового знака, замещающего УФО, часто вызывает протест, рекомендательную подсказку или ситуативно-ролевую интерпретацию пропуска формулы (как сигнала обиды или повышенной социальной самооценки партнера). Приведем некоторые иллюстрации подобных реакций:

- *Почему не здороваешься?* (pp.)
- *А где спасибо?* (pp.)
- *Надо здороваться, когдаходишь.* (п., Алешин)
- *До свидания... Что, даже «до свидания» не можешь сказать? Чем я тебя так обидела?* (сп., Гельман)
- *Язык у меня дурацкий. Видишь, обиделась — даже не попрощалась.*
(п., Рябкин)
- *Мой муж — Роман. А вы, значит, руководящий кадр?*
- *Почему вы так решили?*
- *Я назвала себя, мужа, вы благосклонно приняли, на том дело и кончилось.* (п., Кучкина)

III. При втором типе соотношения вербальных и интонационных средств одна из взаимодействующих сторон стилистически маркирована при нейтральности другой. Этот тип взаимодействия выступает в двух разновидностях. Более изученным можно считать

вариант, при котором стилистическая и субъективно-модальная актуализация УФО происходит в результате маркированности вербальных средств при нейтральности интонационных. Семантическое обогащение УФО возникает здесь как за счет выбора лексики с экспрессивно-стилистической коннотацией, так и за счет синтаксических показателей — эллиптичности или, напротив, распространения УФО с осложнением ее структуры компонентами субъективно-модальной оценки, например, частицами, междометиями и пр. Сравним два стилистически контрастных диалога, в которых различия сфер действия, ролевых позиций говорящих, их интенций передается через вербальную структуру общения. Интонационное же оформление, оставаясь в зоне нейтрального (что соответствует в интонационной системе ИК 2), отличается почти полной идентичностью.

(Сцена в ресторане, непринужденный разговор со знакомым официантом):

— Дима! Приве́т!.. Обрати внима́ние!

— Приве́т, ребята.

— Приве́т, Дима.

— Ка́к ты, старина?

— Спаси́бо, норма́льно. А ты?

— Не пло́хо. (сп., Вампилов)

(Официальный разговор по телефону со следователем):

— Будьте добры́, товарища Крымова.

— Да́, это я́.

— Здравствуйте, Вячеслав Андреевич, вас беспокоит следователь Токарев.

— Здравствуйте.

— Хотелось бы побеседовать, Вячеслав Андреевич.

— Простите, Олег Григорьевич, если не ошибаюсь?

— Да... да́.

— Боюсь, что сегодня не смогу вразумительно отвечать на ваши вопросы.

— Я побеспокою вас на днях.

— Благодарю́. (сп., Бондарев)

Сравним диалоги, где также вербально, при полной «индифферентности» интонации, переданы и характерологические особенности говорящих, и степень их близости.

— Здравствуйте, Надя.

— Здравствуйте, Вячеслав Андреевич. С приездом вас.

— Спасибо, Надя.

— Ой, здра́сьте, Вячеслав Андреевич. Как хорошо, что вы верну́лись.

— Приве́тствую вас, Нина. Отдыши́тесь.

— Папа́нь приехал! Ура́! Привет и салю́т!

— Здравствуй, милая, здравствуй, чертенок, пи́галица моя.

(сп., Бондарев)

Другой вариант отношений средств при маркированности одного из языковых уровней представляют случаи, когда в стилистически нейтральном по лексическому составу и синтаксическому строению высказывании дополнительная прагматическая информация об условиях общения передается средствами интонации. Этот тип формирования значения УФО — имманентное, природное свойство устной коммуникации: стереотипные речевые акты семантически обогащаются за счет нюансов звучания. Вербальное выражение этих оттенков значения потребовало бы значительного лексико-грамматического усложнения структуры УФО. В качестве сигналов, воссоздающих семантические модуляции интонации в УФО, выступают, в частности, принятые в текстах драматических произведений ремарки: «деликатно», «сюсюкая», «с натренированной любезностью», «официально-любезным тоном», «не желая подстраиваться», «с достоинством», «грубо», «вызывающе» и т.п. Приведем несколько подобных примеров:

— Здравствуйте, Кира Владимировна.

— (едко) Здравствуйте, Александр Васильевич.

— Здравствуй, Кира.

— (мягко) Здравствуй, Леша. (п., Рябкин)

— Здравствуйте, будущий журналист.

— (радостно) Здравствуйте, профессор!

— (после паузы) До свидания, будущий журналист.

— (растерянно) До свидания, профессор. (п., Солодарь)

Важность вклада интонации в формирование коммуникативного облика УФО делает заманчивой идею инвентаризации интонационно-звуковых качеств в соотношении с порождаемыми ими смысловыми приращениями. Однако, отмечая наличие коррелятивной связи между интонационными средствами и возникающими смысловыми приращениями УФО, часто приходится констатировать неоднозначность этой связи. Одно и то же фонетическое качество может создавать разные обертоны (конкретизируемые, например, контекстом), а один и тот же экспрессивно-стилистический оттенок может передаваться разными интонационно-звуковыми комплексами и, с прагматической точки зрения, может соотноситься с разными экстралингвистическими факторами. Так, повышение интонационного регистра в сочетании с удлинением гласных, продвижением их артикуляции вперед, придыханием (произношение, которое в транскрипции можно передать так: [zdr'asc'f'ujt'ь]) может быть описано следующим образом: ласковое, мягкое, слащавое, сюсюкающее. Такое произношение может быть производной характера говорящего (вспоминается манера речи Манилова), может быть обусловлено особенностями адресации (обращением, например, к маленьким детям), связано с передачей чужой речи или с пародированием какого-либо стилистического регистра речи (например, утрированной галантности). Исходя из этой неопределенности значения интонационной формы, правомернее, видимо, ставить вопрос не об описании соотношения интонационных средств и их смысловых эффектов, а об анализе смыслоразличительных возможностей интонации в нейтральных по вербальному составу УФО. Кратко остановимся на этих возможностях.

1. В рамках общих функциональных закономерностей интонации через понижение тона — ИК 1, 2 — или через его подъем — ИК 3, 6 — возможно различение законченности или смысловой незавершенности УФО, сигнализирующей о наличии дополнительных отношений противительности, присоединения, условия и т.п. Сравним, например, интонационную дифференциацию *спасибо* как отказа или согласия, что отражается и в содержании реплики-реакции:

- Ты забирай свою молодую жену и в воскресенье ко мне на обед.
- Спасибо, Виталий Григорьевич...
- Никаких спасибо. Вот держи адрес, в два часа садимся за стол.

(рп., Балуев, Гельман)

- Слушайте, у меня сегодня день рождения, приходите?
- Спасибо, Иван Сергеевич.
- Вот и хорошо, буду ждать. (кф.)

2. Интонация может конкретизировать значение отдельных многозначных УФО. Ср. потенциально возможные произнесения и их смысловой эффект.

(Ну) *пожалуйста*: «дугообразный» тон (ИК 2) с удлинением центра — усиление просьбы, побуждения; резкий подъем или падение тона со смычкой голосовых связок на гласном (ИК 7) — обида, разрыв контакта. Интонационная дифференциация этих значений дает возможность разной интерпретации реплики в диалоге:

- Я буду называть вас Аликом. Не возражаете?
- Аликом?... Но почему Аликом?
- Вам не нравится?
- Я не знаю, право...
- Ну пожалуйста...^{2/17}
- Алик... Странно... Но для вас... Если вам нравится... (сп., Вампилов)

(Ну) *извините*: ровный тон с усилением центра (ИК 2) — извинение за поступок; резкое падение с завышенного уровня — несогласие (̄2); резкие колебания (нисходяще-восходяще-нисходяще-восходящие) тона с возможной смычкой голосовых связок — вызов, насмешка. Сравним интонационное выражение этих значений, подкрепленное контекстуально:

- А вы давно читали Ленина?
- Я его преподаю.
- Я понимаю, я спрашиваю, давно ли вы его читали.

³ Запись 2//7 означает возможность интонационной синонимии, ср. ИК 2 *Я вас очень прошу*, ИК 7 *Не хотите — не надо*.

- Молодой человек, не забываетесь.
- Извините². Я действительно немного забылся. (тф.)
- Уберите руки!
- (как бы не понимая) Извините⁴?
- Я сказала – уберите руки!
- А я говорю – извините²! Я здесь в командировке! Приехал на три месяца! Никого не знаю! Я уже озверел – извините²! (сп., Гельман)

- Могу устроить модное платье, желаете?
- Благодарю. В этих услугах я не нуждаюсь.
- (вызывающе) Ну извините. (п., Рябкин)

Я вас прошу: ровный тон с усилением центра (ИК 2) – нейтральная просьба; ровный тон с удлинением центра – усиление просьбы; повышение тона в центре (ИК 3) – повышенная вежливость или сигнал последующей конкретизации просьбы; ступенчатое понижение тона с рассредоточенным мелодическим центром – несогласие, направленное на прерывание речи или действий партнера.

Сравним:

- Татьяна, брат твой и в самом деле симпатяга!
- Я вас прошу... (сп., Софронов)

(Александр бьет графин)

- Александр, я вас прошу!
- Вы извините... (сп., Роцин)

3. Интонационно могут быть представлены некоторые функционально-стилистические различия УФО, чаще по линии официальность / нейтральность / непринужденность (разговорность). Их различие обеспечивается наличием в интонационной системе оппозиций нисходящего (ИК 2) и нисходяще-восходящего тона. Сравним, например, нейтральное и официальное приветствие: Здравствуй²те – Здравствуй⁴те.

4. Интонационно-звуковыми средствами могут передаваться различные эмоциональные оттенки УФО в рамках общей эмоционально-стилистической функции интонации. На выражение эмоций в УФО могут работать тончайшие изменения мелодики, длительно-

сти, артикуляции, тембровой окраски. Так, даже в зоне нейтральной ИК 2 небольшие перестройки мелодики центра и предцентра способны дифференцировать разные эмоциональные оттенки. Рассмотрим некоторые из этих реализаций ИК 2, обозначив особенности движения тона в центре и предцентре графически. Сравним эмоциональный эффект от использования разных реализаций:

Добрый день! – нейтрально;

Добрый день! – значительно, весомо;

Добрый день! – обыденно;

Добрый день! – с вызовом («Почему вы меня не замечаете?»);

Добрый день! – с усиленной обращенностью («Я поприветствовал вас, но не услышал отклика»).

Проявлению эмоциональных состояний говорящего в формулах общения служат и растяжки гласных, обычно в сочетании с тональными и артикуляционными изменениями, например:

а) удлинение гласного + ровное движение тона при пониженном регистре и вялой артикуляции (возможна лабиализация) передает разочарование или растерянность:

– Это тебе.

– Спасибо. (рр.)

– Здравствуйте, Таня.

– (она растеряна) Здравствуйтѐ.

– Не ожидали?

– Вообще-то да, не думала... (сп., Вампилов)

б) удлинение + увеличение интервала понижения тона может выдавать досаду:

– Зачем ты пришла?

– Поздравить тебя с окончанием. Поздравляю.

– (мрачно) Спасибѐ.

– Извини, если не вовремя. (сп., Вампилов)

в) удлинение + повышение регистра, энергичная и упрежденная артикуляция отражает растроганность:

– Ну здравствуйте, дорогие... (рр.)

IV. Обратимся к тому типу взаимодействия, в который вступают при формировании значения УФО вербальные и интонационные средства, стилистически однонаправленные. Это значит, что стилистически сниженным лексико-грамматическим средствам соответствует интонация, направленная на снижение стиля речи, а стилистически повышенным — интонация, повышающая стиль общения; сюда же относятся случаи, когда вербальное выражение эмоций или оценки в УФО дублируется их интонационно-звуковым представлением.

Основной результат подобной однонаправленности языковых средств — заметное усиление экспрессивности в передаче стилистических и эмоциональных созначений формул общения, яркое выражение реакции собеседника на их прагматическое содержание. Рассмотрим примеры данного соотношения средств подробнее, условно выделив среди результатов взаимодействия усиление негативной (А) и позитивной (Б) тональности общения.

(А) Как считают многие исследователи разных аспектов общения, основой этикетного поведения, его ведущим критерием является вежливость (например, [Соковнин 1973; Гольдин 1978]). Однако, в речевой практике, отраженной и в художественной литературе, среди формул общения встречаются и единицы сниженные, выражающие откровенную недоброжелательность. Некоторые из них направлены, например, на прерывание или разрыв общения: *оставьте меня (в покое, наконец), (ну) хватит (уже), иди ты..., пошел ты..., кыш (/брысь) (отсюда)* и т.п. Усиленному проявлению грубости или категоричности данных высказываний служит их интонационно-звуковое оформление: использование ИК 2 с резкими колебаниями тона, ИК 7, отрывистое произношение, усиленная редукция гласных, увеличение громкости. Усиление воздействующего (перлокутивного) эффекта создает обычно этикетный конфликт:

- Кыш² отсюда, кыш³ отсюда!
- Грубо и неостроумно.
- Считаю до трёх: раз, два...
- Идите вы...
- Ой, уже в пути... (тф.)

В финальной фазе общения возможна замена формул прощания более энергичными стереотипными выражениями: *все, (ну) (и) все, вот и все, (все,) хватит*. Эти высказывания обычно используются в ситуациях, когда говорящий доминирует над адресатом речи. Усилению отношения доминирования служат и особенности произношения: направленность мелодики в нижний регистр, особая четкость и напряженность артикуляции. Чрезмерность экспрессии таких высказываний также может отражаться в полемической связи реплик диалога:

- Ну всё⁴, товарищи, мое время истекло...
- Нет, не всё², придется задержаться... (рп., Балуев, Гельман)

(Разговор по телефону)

- Нет², нет² его. Ну я не знаю⁷. Н-да он же мне не докладывает. Ну и всё²!

- (реплика говорящего по телефону, не слышимая зрителями).
- Это по-вашему никому я не кабельная. А кому-то, может, очень кабельная. (сп., Зорин)

(Б) Другой комплекс вербальных и интонационных средств УФО способствует, напротив, усилению таких характеристик, как вежливость, доброжелательность, деликатность. Так, одним из способов выражения усиленного внимания к собеседнику является вербальное подчеркивание адресации, с крайним проявлением этой тенденции в просторечных формулах типа: *Здравствуйте вам*. Просторечная доброжелательность обычно усиливается за счет наложения на подобные формулы аккорда «теплых» интонационно-звуковых красок: преобладания восходяще-нисходящего тона, акцентирующего обращенность, смещения артикуляции вперед и ослабления ее напряженности, служащих «мягкости» и приветливости речи. Такой комплекс средств получает в структуре общения сочувственный отклик:

- Здравствуйте вам!²³ Ой, да спасибо ж вам, ребята, такое большое спасибо... Добрый вам вечер!²³
- И вам добрый, тетя Варя. (п., Немченко)

Данные примеры подтверждают мысль о том, что «одинаковость семантических комплексов устраняет ту неопределенность, которая имела бы место при отсутствии выражения интонационного значения. Аналогичность семантических комплексов увеличивает количество информации, не вызывая ее избытка» [Цеплитис 1974].

Однако не будучи избыточной, информация, передаваемая комплексом обоюдно усиливающих экспрессивно-стилистический эффект вербальных и интонационных средств, с прагматической точки зрения, тем не менее, количественно превышает пределы допустимой в конкретных ситуациях экспрессии. Ситуативная неуместность превышения экспрессии УФО, равно как и самого субъективно-модального значения, получает обычно негативную оценку в общении. Сравним, например, реакцию на особую фамильярность обращения к незнакомому с приветствием, чрезмерно «утепленным» лексикой и звучанием: повышением регистра, упереднением артикуляции, растяжкой гласных:

– (нежно растягивая слова) *Добрый²вечер³, дорогой!*

– (несколько смущенный ее фамильярностью, с иронией) *Добрый²вечер², дорогая.* (сп., Гельман)

Реакция на неуместность повышения экспрессии проявляется как словесно и интонационно, так и паралингвистически (например, в мимике недовольствия или удивления):

– *Анатолий Сергеевич Дроздов⁶ / и сопровождающие его лица!*

– *Добрый²вечер... (подозрительно смотрит) Где же сопровождающие его лица?*

– (скромно) *К вашим услугам. Инженер Шмелёв².* (сп., Левашов)

Приведем еще примеры реакций на выбор повышенной формы самопредставления или приветствия:

– *Будем знакомы – Георгий².* (протягивает руку).

– *Ну-ну... Давай еще целоваться. Георгий, значит Георгий. Значит, Жора.* (кф., Шукшин)

(Заклоченный следователю):

– *Александр Николаевич! Счастливы вас видеть!*

– *Ну уж и счастливы!* (тф.)

Отбор языковых средств УФО, не соответствующих реальной ситуации, может производиться говорящим целенаправленно, например, для создания атмосферы непринужденности, разряженности ее игрой, шуткой. Так, молодая горничная входит в номер давно проживающего в гостинице писателя со словами, торжественность которых усилена интонацией:

– *Приветствую тебя!* (после чего разъясняет) *У нас учительница говорила так: «Приветствую тебя (стучит себя пальцем по лбу), пустынный уголок!»* (сп., Стельмах)

Усиление экспрессии УФО может проявляться и синтаксически: в таких явлениях, как повторы однословной формулы или соположение тематически однородных УФО. Интонационно-звуковые особенности повторов (*здравствуйте-здравствуйте, спасибо-спасибо*) состоят в синтагматически нерасчлененном произношении их с одним интонационным центром, в некоторой нечеткости, «смазанности» артикуляции, в «снижающей» стиль интонации, характеризующейся волной тона в предцентре и ровным движением его в центре, помещенном обычно на второе слово.

Соположение в высказывании синонимических УФО может рассматриваться как частный случай стилистического приема, так называемого градационного ряда. Колебания экспрессии в нем закрепились лексико-синтаксически: через семантику лексического состава, частицы, междометия, грамматический параллелизм конструкций. Интонация в подобных соположенных УФО способствует нарастанию или спаду экспрессии и эмоциональной напряженности, эксплицитно представленной в цепочке высказываний.

– *Спасибо вам, друзья мои. Спасибо от души.*

– *Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте. Как настроенье, как дела?*

– *Игнатий Игнатьевич, спасибо! Большое спасибо! Поздравляю! В добрый час!*

– *Умоляю тебя... пожалуйста... я прошу тебя...*

– *Я вам так благодарна... Огромное вам спасибо за все...*

– *Не вижу ничего смешного.*

– *Прости, прости, извини.*

– (побуждение к действию) *Будьте любезны.*

– (настойчиво) *Будьте любезны, я вам говорю.* (Из сп. и кф.)

Особое нагнетание экспрессивности в соположенных УФО, также как и в единичных, часто воспринимается как неуместное, вызывая критику, негативную оценку или отрицательные эмоции:

– *Вячеслав Андреевич, как я рад вас видеть! С победой, а мы вас так ждали! Поздравляем, поздравляем, от всей души!*

– *Привет, Терентий! Умерь пыл, пожалей слова, которые не воробьи...*

(сп., Бондарев)

– *Будем знакомы... Меня зовут Коля. А маму твою как зовут? Ну давайте познакомимся. Ась?*

– *Да Ира, Ира...* (сп., Петрушевская)

Интересным явлением в сфере стилистической однонаправленности языковых средств УФО являются полярные по экспрессивно-стилистическому эффекту перестройки речи одного и того же говорящего в зависимости от изменения экстралингвистических факторов. Интонационно-звуковой строй речи отражает переключения тональности не в меньшей степени, чем вербальные средства. Сравним, например, переключения интонационного регистра (обозначенного в тексте знаками: \lceil – повышение, \lfloor – понижение регистра) в зависимости от отношения к адресату речи в телефонном разговоре:

– *Да!... \lfloor А-а, нашла?.. Нашла, говорю?.. Нормально разговариваю... Можешь, можешь позвонить, но лучше не надо... \lceil Здравствуй, Игоречек, здравствуй, сыночка... Папа скоро будет... Все тебе папа привезет, если дашь еще раз трубочку маме... \lfloor Ага! И не настраивай ребенка... Я не кричу, не кричу, успокойся... Все... Все. Пока.* (сп., Стельмах)

Сравним также смену тональности речи за счет перехода на более плавные изменения тона (ИК 5, 6, 4) при обращении к разным по степени близости и знакомства адресатам:

– *Добрый вечер, архаровцы!* (замечает постороннего).

– *Познакомься, папа...*

– *Кудимов Михаил.*

– (церемонно, с подчеркнутым достоинством, слегка изображая блестящего гастролера, любимца публики) *Сарафанов.. Так-так... Очень приятно... Наконец-то мы вас видим, так сказать, воочию. Очень приятно. Садитесь, пожалуйста.* (сп., Вампилов)

Сравним также изменения в отборе типов интонации (переход от более официального ИК 4 к разговорным, более контрастным тональным изменениям, свойственным реализациям ИК 2 с резким подъемом тона на предцентровом слоге) в зависимости от степени официальности общения:

– *Здравствуйте, Любовь Сергеевна.*

– *Как церемонно. В письмах вы уже обращались ко мне не так официально.*

– *Что же, если позволите: Здравствуйте, Любочка... И так, здравствуйте, Любочка.*

– (подумав) *Привет.* (сп., Алешин)

V. Остановимся теперь на эффектах разнонаправленного действия стилистически маркированных средств вербального и интонационного уровня в УФО. Как показывает материал, экспрессивно-стилистический диссонанс средств разных уровней порождает имплицитные смыслы, создает подтекстовые значения формул общения, т.е. с прагматической точки зрения направляет УФО не столько на осуществление контакта, сколько на выражение субъективно-модального отношения говорящего к собеседнику или к ситуации общения.

При расфокусировке формы и содержания УФО чаще с одной стороны выступают лексико-синтаксические средства, а с другой – интонационные, но в единстве с контекстом.

В процессе расхождения экспрессивно-стилистической направленности средства одного из языковых уровней в формировании значения УФО вступают в текстовый или ситуативный контраст, в то время как средства другого уровня могут смягчать или нивелировать этот контраст. Так, негативно оценочное обращение *гадина паршивая*, встречаясь в определенном контексте и с особой интонацией (повышение регистра, упрежденность артикуляции и ослабле-

ние ее напряженности), служит намерению говорящего передать близость и положительное отношение к адресату, т.е. может служить, используя выражение Т. В. Бульгиной, «конвенцией употребления»:

- *Мамуся, вот ты где!.. Это вам⁴!*
- *Спасибо. Какие розы!*
- *Ну здравствуй, гадина паршивая. Ну как ты? (сп., Рошин)*

Выбор говорящим в формулах благодарности и обращения официальных и повышенных стилистически лексико-грамматических средств при намеренно сниженных, более свойственных разговорной речи типах интонации (например, ИК 7) служит цели выражения иронии:

- *Ах, Петя, Петя... Для начала вы бы мне помогли.*
- *Фактически я и так вам помогаю почти официально уже целый вечер.*
- *Благодарю⁷ вас, товарищ Королев. (п., Софронов)*

Так же при выражении извинения *ах, простите, пожалуйста* средствами интонации (резкого «взлета» тона или его резких нисходяще-восходяще-нисходяще-восходящих перепадов с возможной смычкой голосовых связок) выявляется субъективно-модальное отношение насмешки.

Соотношение средств может быть и обратным: при сниженности вербальных повышены интонационные, например:

- *Майе Петровне | всегда⁵ здравьте! (тф)*

В прагматическое содержание формулы приветствия здесь входит намерение говорящего настроить собеседника на особую непринужденность общения, чему и служит этот прием интонационной игры, направленный на создание комического эффекта.

Как видим, стилистическая разнонаправленность средств в УФО меняет их функциональную и прагматическую природу: их задачей становится не столько установление и поддержание контакта, сколько воздействие на собеседника с целью изменить его чувства или поведение, а также самовыражение говорящего.

⁴ В смысле тебе, жене.

Наиболее яркое завершение разнонаправленность средств получает в тех случаях, когда в рассогласование включается и контекст, противоречащий лексико-синтаксическому содержанию УФО. Диссонанс контекста и слов с семами приветствия, благодарности, поздравления и т.п. поддерживается интонацией, направленной обычно на снижение стиля звучания. Сравним:

- *Ну² спасибо, удружили. (кф)*
- *Слушай, а сколько времени?*
- *Половина двенадцатого.*
- *Сердечно поздравляю⁷, мы опоздали на электричку. (сп., Вампилов)*
- *Вера, не оставляй меня.*
- *Здрасьте! Еще чего! Отпусти! (сп., Гельман)*

VI. Как представляется, приведенный материал позволяет сделать некоторые выводы относительно роли интонации в формировании значения устойчивых формул общения. Этот материал, в частности, свидетельствует о том, что в произношении УФО доминируют интонационные средства, способствующие стилистической нейтральности. Семантические возможности интонации проявляются вне зоны нейтральности. Модуляции интонационной формы УФО способны предавать функционально-стилистические различия сфер общения, конкретизировать значение многозначных формул, выражать гамму эмоциональных и экспрессивно-стилистических оттенков.

Анализ результатов разных типов взаимодействия интонации, лексики, синтаксического строения и контекста УФО уточняет их функции в реальном общении. В зависимости от качества интонации и ее соотношения со средствами других языковых уровней эти функции варьируются:

1) категориальная функция контакторегулирования доминирует при общей экспрессивно-стилистической нейтральности языковых средств УФО;

2) эта функция прагматически осложняется выражением субъективно-модального отношения говорящего при стилистической маркированности средств одного из уровней, особенно интонационного;

3) контакторегулирующая функция УФО почти полностью подменяется прагматической функцией выражения намерений, мыслей и чувств говорящего при разнонаправленности экспрессивно-стилистического действия языковых средств разных уровней.

Звучание УФО — один из факторов, регулирующих тактику поведения собеседников и отражающихся в построении диалогических единств, содержащих УФО. По характеру и семантико-синтаксической структуре среди реплик-реакций на УФО-стимул условно можно выделить реплики, в которых а) принимается предложенная тональность общения и происходит соответственная подстройка языковых средств и б) не принимается тональность общения, в результате чего диалог приобретает полемическую направленность. Моментами, провоцирующими реакцию последнего типа является преобладание в содержании УФО негативных или чрезмерно экспрессивных, чаще имплицитно (через интонацию и контекст) выраженных смыслов. Более детальное выявление влияния интонационной формы УФО на организацию диалога требует дальнейшего специального рассмотрения.

Сокращения

Кф. — кинофильм; п. — текст пьесы; рп. — радиопостановка; рр. — разговорная речь; сп. — спектакль; тф. — телефильм; УФО — устойчивая формула общения.

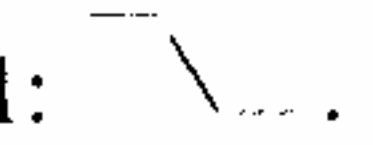
Литература

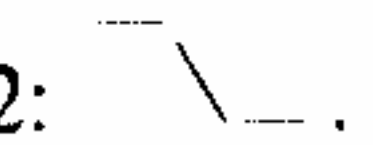
- Акишина, Формановская 1986 — Акишина А.А., Формановская Н.И. Русский речевой этикет. — М., 1986.
 Брызгунова 1982 — Брызгунова Е.А. Коммуникативный анализ русской звучащей речи // Russian Language Journal. — XXXVI. № 125. — 1982.
 Брызгунова 1984 — Брызгунова Е.А. Эмоционально-стилистические различия русской звучащей речи. — М., 1984.
 Гольдин 1983 — Гольдин В.Е. Речь и этикет. — М., 1983.
 РРР 1973 — Русская разговорная речь. — М., 1973.
 Русский язык 1979 — Русский язык. Энциклопедия. — М., 1979.
 Соковнин 1973 — Соковнин В.М. О природе человеческого общения. — Фрунзе, 1973.
 Формановская 1984 — Формановская Н.И. Употребление русского речевого этикета. — М., 1984.

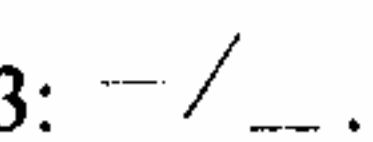
- Формановская 1979 — Формановская Н.И. Функциональные и категориальные сущности устойчивых формул общения. — АДД. — М., 1979.
 Цеплитис 1974 — Цеплитис Л.К. Анализ речевой интонации. — Рига, 1974.

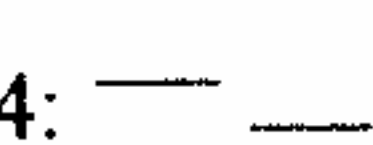
Приложение

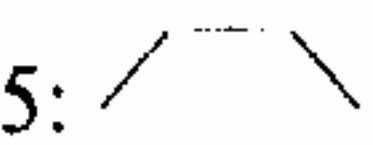
Описание интонационных конструкций по [Русский язык 1979].


ИК 1: . На гласном центра нисходящее движение ниже предцентра, уровень тона постцентра ниже центра. Употребляется при выражении завершенности.

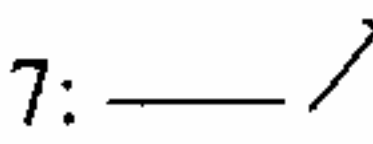
ИК 2: . На гласном центра нисходящее движение тона в пределах предцентра или незначительно ниже, усилено словесное ударение (в отличие от ИК 1); уровень тона постцентра ниже центра. Употребляется при выражении вопроса с вопросительным словом, требования: *Какая у него специальность?*; *Закройте дверь!* и др.

ИК 3: . На гласном центра восходящее движение выше предцентра, уровень тона постцентра ниже центра. Употребляется при выражении вопроса, незавершенности, просьбы, оценки в предложениях со словами *так, такой, вот*: *Там так красиво!*; *Он такой вредный!*; *Вот молодец!* и др.

ИК 4: . На гласном центра нисходяще-восходящее движение тона выше предцентра, уровень тона постцентра выше центра. Употребляется при выражении вопроса в предложениях с сопоставительным *а*, вопросов с оттенком требования, незавершенности: *А Павел?*; *А вы куда едете?*; *Ваш билет?* и др.

ИК 5: . Имеет два центра: на гласном первого центра восходящее движение тона, на гласном второго — нисходящее: уровень тона между центрами выше предцентра и постцентра. Употребляется при выражении высокой степени признака, действия, состояния: *Какой у нее голос!*; *Как он учится!*; *Настоящая весна!* и др.

ИК 6: . На гласном центра восходящее движение выше предцентра, уровень тона постцентра также выше предцентра. Употребляется при выражении незавершенности (в отличие от ИК 3 и ИК 4 вносит оттенок приподнятости, торжественности), высокой степени качественного и количественного признака, действия, состояния: *Все системы космического корабля / работают нормально;* *Воды набралось! Море!*

ИК 7: . На гласном центра восходящее движение тона выше предцентра, уровень тона постцентра ниже центра; в отличие от ИК 3 в конце гласного центра смычка голосовых связок. Употребляется при выражении экспрессивного отрицания, усиления оценки: *Какой он охотник!*; *Тишина!* и др.

И. А. Шаронов

I. A. Šaronov

Глаголы речевых актов и коммуникативы¹

Speech act verbs and communicatives

Одним из наиболее актуальных направлений в современной лингвистике стало в последние десятилетия изучение семантики предикатов. Среди них была выделена и рассмотрена группа глаголов речи. Особое внимание группе речеактных глаголов было уделено во многом благодаря развитию лингвистической прагматики и теории речевых актов (см., например, [Кобозева 1985]).

Речеактные глаголы передают интенциональное значение того или иного речевого акта. Денотатом их является обычно единичное речевое произведение, высказывание. Отношения между речеактным глаголом и речевым актом до определенной степени аналогичны тем, которые имеют место между описанными Э. Бенвенистом [1974: гл. XXVI] так называемыми делокутивами (отфразовыми глаголами) и словами-фразами, от которых делокутивы произошли, что и позволило Ю. Д. Апресяну говорить о речеактных глаголах как о «семантических делокутивах». Для нас эта аналогия важна тем, что она усиливает внимание к классу высказываний, выражаю-

¹ Работа выполнена при частичной поддержке Российского гуманитарного научного фонда по проекту № 96-04-06116.

щих речевой акт. Анализ и классификация таких высказываний могли бы существенно повлиять на полноту и точность толкования глагола, описывающего эти высказывания. Однако решение задачи полного описания средств выражения иллокуции в определенном языке имеет на своем пути множество проблем, связанных, в частности, с труднообозримым богатством речевых стратегий того или иного речевого акта. Известно, что иллокутивное значение в большинстве случаев нежестко связано с эксплицитными языковыми средствами. Перформативы, побудительные и вопросительные конструкции, более или менее однозначно фиксирующие иллокуцию высказывания, составляют лишь небольшой островок в море прочих языковых средств, которые не связаны напрямую с иллокутивным значением. «Высказывание *Я уйду не позже семи часов* может быть воспринято в соответствующих условиях как обещание, предупреждение, угроза, предсказание» [Булыгина, Шмелев 1997: 248]. Поэтому исследователи не рассматривают обычно при толковании глагола речевого акта те высказывания, которые способны подпадать под зону его описания, считая вполне достаточным анализировать синтаксическое поведение самого глагола и сопоставлять его с близкими ему глаголами того же класса. Тем самым вольно или невольно между глаголами и объектом их описания проводится разграничительная линия. Анна А. Зализняк так пишет о близкой речеактным глаголам группе глаголов (предикатов) внутреннего состояния: «Следует подчеркнуть, что поскольку предметная сфера, с которой соотносятся интересующие нас предикаты, составляет область изучения другой науки, психологии, наша задача — в том, чтобы найти противопоставления, которые релевантны именно для семантики языковых выражений (одного или нескольких языков), а не для эмоциональных или ментальных состояний как таковых. То есть предметом нашего анализа является не действительное устройство внутренней жизни человека, а та наивная картина мира, которая отражена в значении соответствующих предикатных выражений» [Зализняк 1992: 7–8]. Решая проблему под таким углом, лингвисты остаются в рамках привычной сосюррианской парадигмы внутриязыковых противопоставлений. Однако возможен и иной путь, дополняющий и уточняющий традиционный лингвистический анализ.

В языке существует устойчивые языковые выражения, обращение к которым при толковании глаголов внутреннего состояния, речеактных глаголов и ряда других групп может оказаться плодотворным. Речь идет о закрепленных в языковом узусе стереотипных формулах выражения интенций и эмоций, которые мы называем коммуникативами. Дискурсивный класс коммуникативов — это класс синтаксически независимых реплик (предикаций) диалога и монолога, состоящих из отдельных слов или из фразем. С одной стороны, через них выражается значительное количество речевых стратегий той или иной интенции, а с другой стороны, они имеют языковой статус, самостоятельность от контекста, которой лишены стандартные речевые акты, получающие иллюкутивную силу через контекст и благодаря контексту.

Категориальными характеристиками единиц класса коммуникативов являются интенциональная заданность (они выражают или указывают на интенцию, на субъективное состояние или отношение автора высказывания к предмету речи), отсутствие предметного содержания (в них не содержится информации собственно о предмете речи) и синтаксическая независимость (это всегда отдельные предикации — реплики диалога или вводные конструкции).

Интенциональное значение, передаваемое коммуникативами, позволяет объединять их в большие тематические ряды, такие как подтверждение, признание, возражение, удивление и т.п. Более подробно принципы выделения дискурсивного класса коммуникативов и принципы его лексикографического описания раскрыты в статье [Шаронов 1996].

Мы рассмотрим в настоящей работе два уже описанных интенциональных ряда коммуникативов — ряд **Признание** и ряд **Угроза** — для выявления тех признаков соответствующих речеактных глаголов, которые остаются незамеченными без привлечения к рассмотрению коммуникативов.

Мы начнем рассмотрение с речевого акта угрозы.

Академический словарь толкует угрозу как разновидность утверждения о будущем действии, «обещание причинить какое-либо зло, неприятность» [СРЯ АН СССР, т. 4]. Но если считать принятие решения причинить какое-либо зло обещанием самому себе (*Клянусь,*

я сплю это дерево, что бы мне ни говорили!), то отделить зловерные планы от угроз было бы невозможно. А. Вежбицкая вводит в толкование угрозы ее адресата и цель, с которой акт угрозы осуществляется. Ее толкование звучит следующим образом: Угроза — это «общение о нежелательных для адресата будущих событиях с целью оказать влияние на его поведение, то есть вызвать или предотвратить какое-либо его действие» [Wierzbicka 1987:178]². Но и на основе данного толкования достаточно сложно отделить угрозу, например, от речевого акта предупреждения. Надпись на столбе *Не влезай, убьют!* вполне подходит, как кажется, под предложенное толкование, хотя угрозой его назвать было бы не совсем верно. Кроме того, толкование исследователя учитывает только будущие действия адресата, на что обратила внимание М. Я. Гловинская, которая пишет в комментарии к своему толкованию акта угрозы: «Это толкование охватывает все виды угроз — и имеющие целью вынудить адресата к какому-то поступку, и ориентированные на уже совершенный поступок адресата, и вообще не связанные с поведением адресата, а вызванные, например, агрессивностью говорящего». Цитируем толкование М. Я. Гловинской: «X угрожает Y-у, что P = (1) X говорит Y-у, что сделает P, плохое для Y-а; (2) X говорит это для того, чтобы Y боялся, что X сделает P» [Гловинская 1993: 187]. Данное толкование очень хорошо подходит к угрозам — описаниям конкретных действий говорящего в будущем, таким как: *Я сейчас тебя зарежу!* или *С завтрашнего дня мы объявляем забастовку*. Однако, оно кажется недостаточно полным для стереотипных формул выражения угрозы: *Ну, погоди у меня!* Вероятно, можно говорить о двух разновидностях речевого акта: Угроза 1 и Угроза 2. В толковании М. Я. Гловинской не нашли отражения такие важные для толкования Угрозы 2 компоненты как «мотив угрозы» и «психологическое состояние говорящего в момент произнесения речевого акта». Эти два фактора отличают Угрозу 2 (обещание отомстить) от предупреждения — акта, в одном из значений синонимичного Угрозе 1.

Что хочет сказать говорящий, уточняя свое предшествующее высказывание репликой: *Я не угрожаю, а предупреждаю?* Говорящий

² Цитируется по [Булыгина, Шмелев 1997].

может и угрожать, и предупреждать о наказании, и разница между двумя указанными актами здесь вполне ощутима. Предупреждение — это подвид сообщения адресату о грозящей ему в будущем неприятности, не обязательно связанной с действиями говорящего лица. Сам говорящий чувствует себя сторонним лицом, что сближает акт предупреждения с актом совета. Предупреждать можно и реагируя на предшествующие действия адресата, и просто на всякий случай. Отсюда эмоциональная нейтральность, спокойствие и одновременно объективность предупреждения. Мотивы совершения речевого акта Угрозы 2 несколько иные: необходимо намеренное совершение (или несовершение) адресатом какого-либо действия в прошлом или настоящем. В результате этого действия (или недействия) адресата говорящий приходит в состояние агрессивного недовольства. Не имея возможности отреагировать немедленно, говорящий затаивает обиду и переносит осуществление мести, наказания в план будущего, о чем и сообщает адресату.

Реплика *Я не угрожаю, а предупреждаю* отрицает присутствующее в акте угрозы эмоциональное состояние говорящего — гнев, ярость, обиду и т.п., на счет которого можно было бы списать обещание отомстить, наказать. Хорошо известны так называемые «пустые угрозы» — формы эмоциональной разрядки раздраженного человека, нечто близкое проклятиям, не имеющее реальной силы в действительности. Поэтому предупреждение в данном контексте оказывается опасней угрозы.

Указанные признаки — наличие мотива для акта угрозы и эмоциональная заряженность говорящего — высвечиваются не только из анализа реплики, с которой мы начали рассуждение. Они оказываются необходимыми и очень существенными компонентами при описании коммуникативов ряда Угроза.

Ряд «Угроза, обещание отомстить, наказать» включает в себя чуть меньше пятидесяти коммуникативов, разведенных по синонимическим группам и подгруппам. Приведем общий список единиц, вошедших в рассматриваемый ряд³.

³ Шрифтовые различия служат для выделения основных компонентов коммуникативов на фоне их вариантов, как грамматических, так и лексических, при лексикографическом описании единиц в Словаре коммуникативов. Возьмем для приме-

Ну *берегись* (-тесь) теперь!; теперь *держись* (-тесь)!; Ну *погоди* (-те) / *подожди* (-те) же (у меня)!; Ну, *заяц, погоди!*; Ну *я сейчас* [щас] *с тобой* / *с вами* / *с ним* / *с ней* / *с ними поговорю* / *за всё рассчитаюсь* / *разделаюсь*; Ну, *попадись ты мне!*; *Я это* (-го) *так не оставлю!*; *Вы* мне ещё *за это* / *за всё ответите*; *Вы* мне *за это будете отвечать* перед законом!; Вот *я тебя* / *вас* сейчас!; *Я* вот *те* (-бе) / *вам* / *ему* / *ей* / *им* сейчас *покажу*, своих не узнаешь (-ет / -ют)!; *Я* *те* (-бе) / *вам* / *ему* / *ей* / *им* сейчас *покажу*, где *раки зимуют!*; *Я* *те* (-бе) / *вам* / *ему* / *ей* / *им* сейчас *покажу* *кузькину мать!*; *Я* *тебя* [тя] *научу* *родину любить!*; Ну *я* *те* (-бе) / *вам* сейчас *дам!*; *Сейчас* [щас] *как дам!*; Ну *хорошо* же, ну *хорошо* (же), *я* *это* тебе / *вам* / *ему* / *ей* / *им* *запомню!*; Ну *ладно* (, *ладно*), *я* *ещё до тебя* / *до вас* / *до него* / *до неё* / *до них доберусь!*; Ну *ладно* (, *ладно*), *я* / *мы* *ещё с тобой* / *с вами* / *с ней* / *с ним* / *с ними поговорю* (-им) / *потолкую* (-ем)!; Ну *ничего* (, *ничего*), *я* / *мы* *ещё с тобой* / *с вами* / *с ней* / *с ним* / *с ними встречу* (-имся); Ну *ладно* (, *ладно*), *ты* / *вы* / *они* *у меня* ещё *попляшешь* (-ете / -ут)!; *Ты* / *вы* / *они* *ещё об этом* очень *пожалеешь* (-те / -ют)!; *Вам* / *тебе* / *ему* / *ей* / *им* *это* очень *дорого обойдётся*; *Ты* / *вы* *мне* ещё *за это заплатишь* (-ите)!; *Ты* / *вы* / *они* *ещё за это заплатишься* (-итесь / -ятся)!; Ну *ничего* (, *ничего*), *вы* / *ты* / *он* / *она* / *они* *меня* *еще узнаете* (-ешь / -ет / -ют)!; *Смотри* (-те) же; *Ты* / *вы* *смотри* (-те) *у меня!*; Ох *дождёшься* (-тесь) *у меня!*; *Смотри* (-те) (же) / *ох допросишься* (-тесь) *у меня!*; *Смотри* (-те) / *ох доиграешься* (-тесь) *у меня!*; Ох *добьёшься* (-тесь) *у меня!*; *Ты* / *вы* *у меня* *добьёшься* (-тесь)!; *Смотри* (-те) (же), *ещё раз увижу* — *плохо будет*; *Я* тебе / *ему* / *ей* / *им* *устрою весёлую жизнь!*; *Я* тебе / *ему* / *ей* / *им* *такое устрою!*; Ну, *теперь пеняй* (-те) *на себя!* / *Пусть* *теперь пеняет* (-ют) *на себя!*; Да *я* тебе / *ему* / *ей* / *им* *голову сниму!*; Да *я* *из тебя* / *из него* / *из неё* / *из них* *душу вытрясу!*; Да *я* *из тебя* / *из него* / *из неё* / *из них* *котлету сделаю!*; Да *я* *от тебя* / *от него* / *от неё* / *от них* *только мокрое место оставлю!*; *Пасть порву!*; *Моргалы выколю!*

ра коммуникатив Ну *погоди* (-те) / *подожди* (-те) же (у меня)! Компонент *погоди* (-те), набранный полужирным шрифтом, является фиксированным компонентом коммуникатива; *подожди* (-те) — его лексический вариант; же (у меня), набранные рубленым шрифтом, — это факультативные компоненты, способные входить в коммуникатив как вместе, так и по отдельности.

Лексикографическое описание ряда Угроза открывается дефиницией, охватывающей все единицы ряда: «Угроза — это обещание отомстить или наказать кого-либо за намеренно совершенное (совершающееся) негативно оцениваемое действие, за нарушение обязательств или запретов». В толковании ряда нет указания на эмоциональное состояние говорящего, поскольку этот смысл выражен в глаголах *отомстить*, *наказать*. Нет и указания на самого говорящего, так как он отражен в значении существительного *обещание*. Однако данные компоненты отражены в толкованиях синонимических групп, которые даются от первого лица. Компонент «намеренность совершения действия» может показаться факультативным. Однако он кажется немаловажным при определении моральных границ угрозы отомстить. По меньшей мере странными или дикими показались бы, например, угрозы родственников пострадавших пассажиров водителю перевернувшегося автобуса. Произносящий угрозу должен исходить из того, что ее адресат совершил действие намеренно, за что и должен понести наказание.

Ниже мы рассмотрим типовые ситуации использования акта угрозы, раскрываемые через толкования синонимических групп коммуникативов. Цифрами обозначены номера синонимических групп и подгрупп в словаре. После толкований описывается жестовое сопровождение коммуникативов группы. В целях экономии индивидуальные характеристики коммуникативов — стилистические, эмоциональные и некоторые другие — в данной статье не рассматриваются.

(1.1) 'В ответ на агрессивные по отношению ко мне действия адресата, не желая примириться с обидой, я обещаю адресату, что я немедленно или в будущем сделаю в ответ что-либо неприятное, отомщу ему'.

Говорящий может одновременно показать кулак адресату.

Ну *берегись(-тись)* теперь!; теперь *держись(-тись)*!; Ну *погоди(-те) / подожди(-те)* же (у меня)!; Ну, *заяц, погоди!*; Ну *я сейчас [щас] с тобой / с вами / с ним / с ней / с ними поговорю / за всё рассчитаюсь / разделаюсь*; Ну, *попадись ты мне!*

(1.2) 'В ответ на несправедливые по отношению ко мне действия адресата, не желая примириться с обидой, я обещаю адресату в бу-

дущем бороться с ним за справедливость, используя административные меры'.

Говорящий может одновременно с угрозой потрясти указательным пальцем правой руки.

Я это(-го) так не оставляю!; *Вы мне ещё за это / за всё ответите; Вы мне за это будете отвечать* перед законом!

(2.1) 'В ответ на непозволительные действия, придя в негодование, я обещаю в будущем наказать нарушителя'.

Говорящий может подтверждающе покачать головой сверху вниз.

Я тебе / ему / ей / им устрою весёлую жизнь!; *Я тебе / ему / ей / им такое устрою!*; Ну, *теперь пеняй(-те) на себя!* / *Пусть теперь пеняет(-ют) на себя!*

(2.2) 'В ответ на непозволительные действия, вызов, неподчинение, придя в негодование, я обещаю немедленно или в будущем физически наказать кого-либо'.

Говорящий может одновременно выразительно подтягивать рукава.

Да я тебе / ему / ей / им голову сниму!; *Да я из тебя / из него / из неё / из них душу вытрясу!*; *Да я из тебя / из него / из неё / из них котлету сделаю!*; *Да я от тебя / от него / от неё / от них только мокрое место оставляю!*; *Пасть порву!*; *Моргалы выколую!*

(3) 'В ответ на происходящие непозволительные действия кого-л., придя в негодование, я обещаю немедленно или в будущем наказать кого-л.'.

Говорящий может одновременно подтверждающе покачать головой сверху вниз или с угрозой потрясти указательным пальцем правой руки.

Вот *я тебя / вас сейчас!*; *Я вот те(-бе) / вам / ему / ей / им сейчас покажу*, своих не узнаешь(-ет / -ют)!; *Я те(-бе) / вам / ему / ей / им сейчас покажу*, где *раки зимуют!*; *Я те(-бе) / вам / ему / ей / им сейчас покажу* *кузькину мать!*; *Я тебя [тя] научу родину любить!*; Ну *я те(-бе) / вам сейчас дам!*; *Сейчас [ща] как дам!*

(4.1) 'В ответ на агрессивные по отношению ко мне действия кого-либо, временно примирившись с обидой, я обещаю отомстить в будущем'.

Говорящий может улыбнуться злой улыбкой, подтверждающе покачать головой сверху вниз или с угрозой потрясти указательным пальцем правой руки.

Ну *хорошо* же, ну хорошо (же), *я это* тебе / вам / ему / ей / им *запомню!*; Ну ладно (, ладно), *я ещё до тебя / до вас / до него / до нее / до них доберусь!*; Ну ладно (, ладно), *я / мы ещё с тобой / с вами / с ней / с ним / с ними поговорю (-им) / потолкую (-ем)!*; Ну ничего (, ничего), *я / мы ещё с тобой / с вами / с ней / с ним / с ними встречаюсь (-имся).*

(4.2) 'В ответ на агрессивные по отношению ко мне действия кого-либо, временно примирившись с обидой, я обещаю, что обидчик будет наказан'.

Говорящий может улыбнуться, подтверждающе покачать головой сверху вниз или с угрозой потрясти указательным пальцем правой руки.

Ну ладно (, ладно), *ты / вы / они у меня ещё попляшешь (-ете / -ут)!*; *Ты / вы / они ещё об этом очень пожалеешь (-те / -ют)!*; *Вам / тебе / ему / ей / им это очень дорого обойдётся;* *Ты / вы мне ещё за это заплатишь (-ите)!*; *Ты / вы / они ещё за это заплатишься (-итесь / -ятся)!*; Ну ничего (, ничего), *вы / ты / он / она / они меня ещё узнаете (-ешь / -ет / -ют)!*

(5) 'В ответ на совершение неправомочного поступка, устав терпеть и прощать, я предупреждаю, что в следующий раз накажу нарушителя сам или не встану больше на его защиту'.

Говорящий может подтверждающе покачать головой покачать головой сверху вниз или с угрозой потрясти указательным пальцем правой руки.

Смотри (-те) же; Ты / вы смотри (-те) у меня!; *Ох дождёшься (-тешь) у меня!*; *Смотри (-те) (же) / ох допросишься (-тешь) у меня!*; *Смотри (-те) / ох, доиграешься (-тешь) у меня!*; *Ох добьёшься (-тешь) у меня!*; *Ты / вы у меня добьёшься (-тешь)!*; *Смотри (-те) (же), ещё раз увижу — плохо будет.*

Как видно из приведенных толкований, указание на мотив для угрозы и на эмоциональное состояние говорящего очень важно при анализе коммуникативов ряда Угроза, и эти компоненты должны, с нашей точки зрения, быть отражены и при толковании речеактного глагола.

Акт признания.

А. Вежбицкая строит толкования речевого акта признания на значении вынужденности, которое раскладывает на два семантических компонента: 1) внутреннее нежелание говорящего сообщить определенную информацию и 2) необходимость это сделать: «Говорящему трудно совершать данное речевое действие и он совершает его как бы против воли» [Wierzbicka 1984: 99–109]. Похожим образом дается определение вводной конструкции (в нашей терминологии — коммуникатива) *по правде говоря*: «Я не хочу не сказать того, что является истиной. Я полагаю, что ты понимаешь, что я бы предпочел этого не говорить» [Вежбицкая 1968]. Следуя логике А. Вежбицкой в связи с однотипностью толкования, мы должны были бы объявить все вводные слова и конструкции полными синонимами, повторяющими толкования речевого акта и речеактных глаголов. При учете того, что в русском языке как минимум двадцать восемь коммуникативов ряда признания, это было бы очевидно неточным.

М. Я. Гловинская [1993: 158–217] толкует всю группу русских глаголов признания, но не привлекает к рассмотрению сами речевые акты и вводные слова с семантикой признания. В своем описании она в целом следует за А. Вежбицкой, делая центральным компонент 'вынужденность'. У глагола *признаться* исследователь выделяет два значения, связанные с обозначением ситуации, при которой человек говорит о том, что он предпочел бы скрыть, но по внутренним или внешним причинам хочет или вынужден это сказать. Говорящий является субъектом описываемой в акте признания ситуации или имеет к ней отношение. Разницу между двумя выделяемыми значениями М. Я. Гловинская видит в наличии у *признаться* 2 дополнительного компонента 'говорящий совершил плохой поступок'.

Анализ контекстов употребления речевых актов признания с коммуникативами, эти акты маркирующими, позволяет внести определенные дополнения к тем толкованиям акта признания, которые были представлены выше.

1) Уже отмеченный компонент 'вынужденность', характеризующий модусную составляющую толкования, необходимо дополнить компонентом 'доверительность'. Неточно было бы говорить, что

что-то вынуждает человека признаваться, например, в своих пристрастиях, оценках и т.п. — а такие высказывания чрезвычайно часто маркируются коммуникативами со значением признания. Доверительность означает введение собеседника в личный мир говорящего, переход на более интимный, личный уровень в общении «между своими».

2) В толковании пропозициональной (содержательной) составляющей речевого акта признания необходимы уточнения. М. Я. Гловинская пишет, что в акте признания говорящий является субъектом описываемой ситуации или имеет к ней отношение [Гловинская 1993: 170]. Действительно, даже если представить себе признание с предметным именем в позиции подлежащего, например: *Признаюсь, книга лежала на столе*, все равно в данном высказывании имплицитно представлена информация о говорящем как об агенте какого-либо действия, связанного с ситуацией: он либо взял, переложил книгу, либо сказал ранее неправду, либо имело место что-либо подобное, что, собственно, и послужило причиной акта признания. Однако субъект ситуации не всегда говорящий. В ряде случаев субъект ситуации — другие люди, с которыми говорящий себя ассоциирует и за которых он хотя бы отчасти берет на себя ответственность. В зависимости от характера обсуждаемой проблемы меняется и «уровень эмпатии» — начиная от ближайшего родственника говорящего до любого представителя своего народа: *А что греха таить? Не он первый, не он последний воротился из неметчины скоморохом* (А. С. Пушкин, «Арап Петра великого»). В данном примере говорящий выступает не агентом действия, а представителем народа, чувствующим себя ответственным за поступки людей своей национальности.

Речевой акт признания определяется нами следующим образом: признание — это доверительное вынужденное сообщение говорящего лица о себе и/или о близких ему людях.

Какого же рода сообщения оформляются как акты признания? Это либо сообщения о внутреннем мире говорящего — о его субъективных представлениях, оценках, пристрастиях, которые говорящий скрывал ввиду несоответствия некоторой (не всегда проявленной) системе социально-этических или этикетных норм, либо заяв-

ления говорящего о собственных предосудительных, отрицательно оцениваемых (не)действиях, имевших место в прошлом. Можно сказать, что признание — это бытовая форма исповеди, акт раскаяния и нравственного очищения говорящего. Такое очищение происходит в процессе речи и сопровождается выражением сожаления, раскаяния говорящего. В современной светской культуре употребление акта признания расширилось. Реальной внутренней причины для акта признания может и не быть, но говорящему часто полезно и этикетно правильно представить свое речевое поведение как признание. Вежливый человек часто «признаётся» в нестандартном, отличающемся от принятого в обществе отношении к чему-либо, хотя может вовсе и не раскаиваться в таком отношении и не стараться его изменить. Этим создается эффект доверительности, а также может сниматься категоричность оценки чего-либо. Другими словами, речевой акт признания может служить просто средством реализации принципа вежливости [Leech 1983], служащим наряду с кооперативными принципами [Грайс 1985] нормальному ведению диалога. Рассмотрим типовые ситуации использования в дискурсе акта признания, используя материалы ряда коммуникативов **Признание**.

Коммуникативы ряда членятся на отдельные синонимические группы и подгруппы на основе их прикрепленности к ситуации употребления акта признания, а также по характеру отношения говорящего к предмету речи.

Ряд Признание состоит из двух блоков: блока «доверительное признание» и блока «вынужденное признание, покаяние». Рассмотрим последовательно синонимические группы и подгруппы, входящие в каждый из блоков.

Блок I. Признания в нестандартном оценочном и эмоциональном отношении к чему-либо. Делая подобные сообщения, говорящий демонстрирует адресату свое доверие, уверенность в том, что собеседник не воспользуется этой информацией во вред говорящему, и это обычно придает общению более интимный, доверительный характер.

Первая, наиболее широкая синонимическая группа первого блока толкуется следующим образом:

‘Я хочу признаться в субъективных оценках, в слабостях, в потаенных и неподвластных мне чувствах и эмоциях’.

Синонимическая группа состоит из шести подгрупп, единицы которых могут пересекаться.

(1.1) ‘Я хочу признаться в субъективной оценке чего-л., в потаенных негативных чувствах, в ошибочных представлениях о чем-л. в прошлом’.

Одновременно говорящий может смущенно улыбнуться, пожать плечами (наклоняя голову к одному из них); кисти рук ладонями вверх слегка разводятся в стороны (знак сожаления), или одна рука прикладывается к груди (знак искренности).

*Честно говоря; признаться; надо сказать; по правде говоря / сказать; откровенно говоря; должен признаться; честно признаюсь / признаюсь вам / тебе откровенно; надо признаться; не скрою*⁴.

А я, честно говоря, не поверил, когда мне позвонили. Думаю: ошибка какая-нибудь — не может быть, чтобы на свете были такие придурки. Оказывается, правда (Шукшин, «Стёпка»); Один из кремлевских музейных руководителей признался: «Откровенно говоря, в душе мы надеялись, что президента будут “короновать” в Георгиевском зале» («Иван Великий остается в лесах, как и во время коронации Александра II», Известия, 7 авг. 1996).

Анализируя приведенные примеры, мы можем заметить по лексическому составу предикатов высказывания, к которому примыкает коммуникатив, что в данной группе признания носят психологический характер. Это такие ментальные состояния, как (не оправдавшееся) неверие, незнание, несостоявшаяся надежда, субъективные оценки: *не нравится*, потаенные негативные чувства: стыд, обида и т.п. Эти и подобные им состояния выходят в той или иной степени за рамки неписаных законов восприятия мира, не соответствуют эталону, которому принято следовать.

Вторая, третья и четвертая подгруппы характеризуют более узкие и достаточно яркие ситуации употребления, что позволило нам выделить их из первой подгруппы, более широкой и аморфной.

⁴ Некоторые коммуникативы (*честно говоря, признаюсь* и др.) многозначны и могут встречаться в разных рядах, группах и подгруппах коммуникативов.

(1.2) ‘Я хочу признаться в том, что имею противоположную оценку чего-л.’

Говорящий может одновременно пожать плечами, слегка возражающе потрясти головой слева направо.

Честно говоря; если честно; признаться; надо сказать; по правде говоря / сказать.

*Фильм нудный и страшно затянут. — Правда? А мне, честно говоря, очень понравилось. Актеры замечательные. || Эти его слова о самоубийстве ломаного гроша не стоят. — Ты думаешь? А я, если честно, очень за него боюсь.*⁵

Данный речевой акт производится в ответ на оценку чего-либо собеседником. Говорящий предваряет свое несогласие с собеседником, «дисгармоничный акт» в диалогическом взаимодействии искренним признанием, которое должно снять с говорящего подозрение в намеренном стремлении к конфликту. Употребление других коммуникативов из первой подгруппы не кажется в такой ситуации удачным, идиоматичным: *А мне, если честно (?не скрою / ?надо признаться / ?скажу откровенно), понравилось.*

(1.3) ‘Я хочу признаться в неожиданном для себя изменении оценки относительно чего-либо в положительную сторону’.

Говорящий может одновременно выразить на лице легкое удивление, покачивать головой слева направо или (при наклоне головы набок) сверху вниз.

Признаюсь; должен / надо признаться.

(Выходя из кинотеатра:) Да-а, признаюсь, фильм потрясающий! Никогда не думал, что наши смогут так ставить фильмы. || (Профессор, по окончании экзамена:) Студенты произвели на меня, должен признаться, очень сильное впечатление: сообразительные, знающие. Даже не верится, что провинциальный ВУЗ.

Рассматриваемое употребление обычно является зачином диалога. Говорящий сообщает собеседнику или собеседникам *непосредственную* положительную оценку чего-л. Употребление других коммуникативов из первой подгруппы не кажется в такой ситуации

⁵ Иллюстративные примеры, взятые из повседневной речи или сконструированные автором, отделяются от соседних примеров двумя вертикальными линиями.

удачным: ?*по правде говоря* (/ ?*честно говоря* / ?*признаюсь* (вам / тебе) *откровенно*), *фильм потрясающий!*

(1.4) 'Я хочу признаться, что до этого момента имел иное мнение о чем-л., и поэтому не в силах скрыть удивления'.

Говорящий может широко раскрыть глаза и слегка покачивать головой слева направо.

Признаться; откровенно / честно говоря; признаюсь; признаюсь; сознаюсь.

Да что же это! Разрушают стену между Восточным и Западным Берлином! Честно говоря, не думал, что увижу это собственными глазами. || А разве столица США — Вашингтон? Признаюсь, всегда почему-то считал, что Нью-Йорк.

Появление в группе наряду с уже встречавшимися коммуникативами таких эмоционально более экспрессивных единиц, как *признаюсь* и *сознаюсь*, объясняется междометным характером их использования, эффектом неожиданности чего-либо для говорящего, устойчивые представления которого находились до этого момента в противоречии с только что полученной информацией. Формы признания из других подгрупп в таких контекстах, если и возможны, не передают, как кажется, значение сильного удивления, замешательства, присущего данной подгруппе.

(1.5) 'Я хочу признаться в серьезном беспокойстве, глубоко личной заинтересованности, а также в ошибочности своего мнения о чем-л. в прошлом'.

Говорящий может приложить руку к сердцу или к груди и покачать головой слева направо.

Скажу по совести / по совести сказать; положи (-ив) / кладя руку на сердце; откровенно говоря.

Сказать по совести, я за него беспокоился: время суровое, как тогда говорили, строгое, требовало от человека силы, иногда гибкости; мне казалось, что Саша не сумеет приспособиться к жизни, как в свое время долго не мог приспособиться наш отец (А. Рыбаков, «Тяжелый песок»); Положи руку на сердце, я страшно за тебя переживал, особенно в первую минуту, когда ты вышла на сцену. Но потом, когда ты начала петь, я абсолютно успокоился.

Замена коммуникативов данной подгруппы другими единицами первой группы в приведенных контекстах возможна, но при этом исчезает специфический оттенок значения глубоко личного и беспокойного отношения говорящего к предмету речи, который для остальных коммуникативов первой группы не столь релевантен.

Шестая подгруппа до некоторой степени антонимична пятой. Подгруппой, впрочем, она может считаться только вследствие того, что ряд описывается как последовательность объединений синонимичных единиц. Данная подгруппа состоит только из одного коммуникатива.

(1.6) 'Я хочу признаться в отстраненном или в холодно-негативном отношении к чему-либо'.

Говорящий может сопровождать фразу покачиванием головы слева направо или пожатием плеч. Возможно также «отмахивающееся» движение открытой ладони со слегка раздвинутыми пальцами вперед и вбок.

Откровенно говоря.

Войска, посланные ему навстречу, без единого выстрела переходят на его сторону. Откровенно говоря, я просто не понимаю, как это возможно (Войнович, «Москва 2042»); Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, разные учреждения представили свои сводки с описанием этого человека (Булгаков, «Мастер и Маргарита»).

Рассматриваемый коммуникатив в данных контекстах может быть заменен другими только, как кажется, с одновременной утратой выявленного оттенка.

(2) 'Я хочу признаться в нескромной самооценке своих способностей (часто для подчеркивания трудностей, с которыми столкнулся говорящий), а также в удаче, везении'.

Говорящий может слегка наклонить голову набок и покачивать ею сверху вниз.

Надо сказать; признаюсь вам / тебе; *должен признаться; чего скрывать.*

Я, надо сказать, не из робкого десятка, но как увидел пропасть, которую нужно перепрыгнуть, коленки дрогнули. Дна не видно, и холодом оттуда несет! || Чего скрывать, я ведь первой красавицей на фабрике была, за мной все парни увивались, дрались из-за меня!

Неупотребительность в таких контекстах других коммуникативов первой группы можно объяснить только сложившимся узусом. Ср.: **по правде говоря* (/ **если (совсем) честно* / **честно говоря*), *я не из робкого десятка...*

(3) 'Я хочу признаться (с тайным удовольствием) в своих пристрастиях, слабостях, не слишком поощряемых нормами этикета'.

Говорящий может одновременно наложить ладонь на тыльную сторону другой ладони и приложить их к груди.

Признаюсь; должен / надо *признаться*; *честно говоря*.

(Хлестаков:) *Я люблю радушие, и мне, признаюсь, больше нравится, если мне угождают от чистого сердца, а не то, чтобы из интереса* (Н. В. Гоголь, «Ревизор»); *Признаться, я ужасная сладкоежка: могу питаться одними только конфетами.*

В таких признаниях присутствует некоторый налет жеманства. В отличие от других актов признания, говорящий «смакует» свою слабость, а не пытается от нее отречься. Под маской доверчивого признания прячется самолюбование в глазах собеседника. Данный тип признания встречается чаще в речи женщин, хотя это и не обязательно (см. приведенный пример из «Ревизора»). Для выражения выделенного оттенка значения обычно используются только перечисленные формы признания, другие формы в приведенных контекстах выглядят, как кажется, менее идиоматично: *если (совсем) честно* (/ *по правде говоря* / *по правде сказать*) *я просто без ума от балета, не пропускаю ни одной премьеры в Большом театре, это моя самая большая слабость.*

(4.1) 'Я хочу с раскаянием признаться в пристрастиях, предубеждениях, ошибочных представлениях, приводящих к совершению предосудительных поступков'.

Говорящий может несильно и часто тряхи головой сверху вниз.

Грешным делом; *стыдно признаться* / *сказать*.

В юности я был ужас до чего азартен. Проигрывался, грешным делом, до последней копейки, не умел останавливаться. || Он вел себя перед лекцией так, что я его, стыдно признаться, за студента-дебошира принял и хотел даже приструнить. И только потом я сообразил, что дебошир и есть тот самый профессор, ради которого здесь все собрались.

(4.2) 'Я хочу с полусутоливым сожалением признаться в пристрастиях, предубеждениях, приводящих к предосудительным поступкам'.

Говорящий может может (с веселой или стеснительной улыбкой) несильно и часто тряхи головой сверху вниз

Грешник / *-ница*; *грешным делом*; *каюсь*.

На Московском проспекте, — продолжал пожилой гражданин, — все магазины, какие угодно. От мебельного до пирожковой. Хотя лично я, грешник, люблю пирожок домашний, с пылу с жару, к утреннему кофейку (В. Панова, «Конспект романа»); *Погляди-ка, как я нашу душечку, Бекетушку нашего принарядила! — А не слишком ли щеки пунцовы?.. — Может, перестаралась, — согласилась Елизавета и принялась орудовать ватой. — Люблю, грешница, видеть на щеках здоровье.* (Б. Окуджава, О. Арцимович, «Мы любили Мельпомену»).

(5) 'Я хочу признаться (по секрету), какова моя (наша) реальная ситуация, в отличие от ее внешней трактовки'.

Говорящий одновременно может хитро улыбнуться и слегка наклонить голову вперед (как бы стараясь шептать собеседнику на ухо).

Откровенно говоря; *если совсем честно*; *по правде сказать* / *говоря*.

Откровенно говоря, это будет гулянка на всю ночь, с эстрадной программой, дискотекой и хорошим буфетом, но в приглашении мы скромненько назовем это «вечеринкой». || По правде сказать, мне совсем ничего не было понятно, но я до смерти уж хотел спать, и поэтому сказал: — Понятно (Н. Н. Носов, «Витя Малеев в школе и дома»).

Описываемая ситуация предполагает иную внешнюю трактовку событий, в которых участвует говорящий. Автор сообщения открывает собеседнику истинное положение дел, чтобы вместе посмеяться над намеренным лукавством и заодно разделить с собеседником, облегчить для себя моральный груз ответственности за этот обычно не слишком серьезный грех. Пятая группа отличается от четвертой не жесткой связью говорящего с действием, ситуацией, а также отсутствием раскаяния или сожаления, переходом в иную стратегию, в которой деонтические оценки «хорошо — плохо» не имеют силы.

(6.1) 'Я хочу признаться в положении дел (своих и близких людей), которое не соответствует моим ожиданиям, представлениям'.

Говорящий может с грустью на лице покачивать головой сверху вниз.

Признаюсь; по правде говоря / по правде сказать.

Может ли «Выбор России» использовать Государственную Думу не только в качестве трибуны, но и для воплощения их идей в жизнь? — *Признаюсь, это дается с трудом* (Беседа с Гайдаром, «Российские вести», 3 марта 1994).

(6.2) 'Я хочу признаться в унижительном положении дел (своих, а также близких людей)'.

Говорящий может опустить уголки губ, слегка потрясти вверх-вниз ладонью или ладонями на уровне груди.

Стыдно признаться / сказать.

Нас в гости приглашают, а у меня, стыдно признаться, даже приличного платья нет — всё какое-то барахло, да и немодное. || Шеф наш, стыдно сказать, двух слов связать не может! Все тексты ему консультант пишет, а он их только «озвучивает», чуть не по складам читает.

Блок II. Второй блок, имеющий наименование «вынужденные признания, покаяния», охватывает коммуникативные ситуации, связанные с оценкой действий, деятельности говорящего, а также тех, кто участвует с ним в совместной деятельности. Дефиниция блока: 'признания в совершении (серьезного) проступка, а также признания в неудовлетворенности своей (и совместной) деятельностью, состоянием дел'. Вынужденные признания, покаяния относятся чаще всего к действиям общественно значимым. Они выражают раскаяние, самоосуждение говорящего относительно (не)совершенных или (не)совершаемых время от времени действий, результатом которых может быть материальный или моральный урон для других людей и общества в целом.

(1.1) 'Я вынужден признаться, покаяться в нарушении закона, в проступке, в постыдных мотивах (не)совершенных действий'.

Говорящий может слегка покачивать головой вверх-вниз в знак подтверждения серьезности предмета речи, опускать вниз или сдвигать в сторону глаза.

Признаюсь; сознаюсь; каюсь, есть / мой грех.

Как же так, вы же проверяли работу! Как же вы могли не заметить, что она в нескольких местах — откровенный плагиат — *Признаюсь, я дочитал ее только до середины.* || При первом же упоминании о портрете Чирков сделал скорбное лицо. — *Мой грех*, — сказал он, картавя. — Я чудно знаю, что должен был сдать портрет в государственный музей (К. Г. Паустовский, «Дым отечества»).

Серьезность описываемых событий не допускает (без изменения оттенка смысла) употребления других коммуникативов признания. Использование в данных контекстах, например, *честно говоря* и его синонимов выглядит крайне легковесно, несерьезно и, как следствие, не будет воспринято слушателем как покаяние.

(1.2) 'Я вынужден признаться в несерьезном, проступке, желании в шутку обмануть собеседника'.

Часто смущенно улыбаясь, разводя руками с кокетливым сожалением.

Признаюсь; каюсь; был грех.

Признаюсь, коллеги, я пригласил вас сюда не на совещание. Просто мы давно не сидели вместе за одним столом. А тут вот и повод нашелся — у меня сегодня день рождения. || Да, были дни, когда я был Петенькой, а вы, вы — просто Надькой. *Был грех, таскал вас за косички.* Впрочем, и вы в долгу не оставались (В. Лаврентьев, «Кряжевы»).

Коммуникатив *был грех* используется только при описании событий давнопрошедших, не имеющих результата в настоящем.

Вторая синонимическая группа в Блоке II непосредственно касается событий, связанных с социальной деятельностью субъекта, часто его действий в коллективе, в какой-либо социальной группе. Говорящий ощущает себя частью коллектива, разделяет его интересы и ответственность.

(2.1) 'Я вынужден (-а) признать неудачными, неудовлетворительными свои действия, деятельность, состояние дел'.

Говорящий может поджимать губы и слегка покачивать головой сверху вниз.

Надо / нужно признать; признаю; что / чего / нечего греха таить.

Ну посмотрите сами, что у вас в результате получается! В нескольких местах по одним и тем же позициям идут разные показате-

ли. — Да... **Надо признать**, я тут что-то намудрил. || Ты вспомни, как ты поступил тогда с тетей Олей! Она тебя два часа у закрытых дверей ждала, а ты себе на даче чай распивал. — Да, **признаю**, это был не самый лучший из моих поступков;

Говорящий делает признание обычно под нажимом слушающего. Чаще всего реплика-признание следует за недоумением или открытым обвинением собеседника.

(2.2) 'Являясь ответственным лицом, я вынужден (-а) признать неудачными, неудовлетворительными действия, деятельность, состояние дел всего коллектива, общества или некоторых его членов'.

Говорящий может сделать глубокий кивок головой сверху вниз.

Надо / нужно признать; необходимо / следует признать; что / чего / нечего греха таить.

Необходимо признать, что не все в нашем коллективе работают в полную силу. || **Однако — чего греха таить!** — много ещё у нас нерешенных вопросов (С. П. Антонов, «Разорванный рубль»).

Часто такого рода самоосуждения от лица коллектива осуществляются его руководителями. Самоосуждение руководителя автоматически переносится и на каждого члена коллектива.

(2.3) 'Я вынужден (-а) признать (грустно или полшутливо) предосудительные действия, деятельность всего коллектива, общества или некоторых его членов'.

Говорящий может приподнять и вытянуть чуть вперед подбородок и слегка трясти головой сверху вниз.

Что / чего / нечего греха таить.

Чего греха таить, бывает и такое, что, отыграв целый спектакль с иным партнером, ни разу не поймаешь на себе его взгляда. Чаще всего это скольжение по тебе или взгляд в твою сторону (В. Лановой, «Счастливые встречи»); Был в «Комсомолии» юмористический отдел «Слова, слова...». Материал для него наши «Крохоборы» черпали в студенческом фольклоре, а порой — **что греха таить!** — и на лекциях уважаемых профессоров.

Подведем итоги. Анализ коммуникативов рядов Угроза и Признание привел к некоторым коррективам в предложенных ранее толкованиях речеактных глаголов. Как видно из рассмотренного

материала, при описании этих глаголов без привлечения коммуникативов можно опустить некоторые существенные детали.

Литература

- Бенвенист 1974 — Бенвенист Э. Общая лингвистика. — М., 1974.
 Булыгина, Шмелев 1997 — Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). — М., 1997
 Вежбицкая 1968 — Вежбицкая А. наброски к русско-семантическому словарю // НТИ. — Сер. 2. № 12. — М., 1968.
 Гловинская 1993 — Гловинская М.Я. Семантика глаголов речи с точки зрения речевых актов // Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. — М., 1993.
 Грайс 1985 — Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 16. — М., 1985.
 Зализняк Анна 1992 — Зализняк Анна А. Исследования по семантике предикатов внутреннего состояния. — München, 1992.
 Кобозева 1985 — Кобозева И.М. О границах и внутренней стратификации семантического класса глаголов речи // ВЯ. — 1985. — № 6.
 СРЯ АН СССР — Словарь русского языка. — М., 1981–1984.
 Шаронов 1996 — Шаронов И.А. Коммуникативы как функциональный класс и объект лексикографического описания // Русистика сегодня. — 1996. — № 2.
 Leech 1983 — Leech G.N. Principles of Pragmatics. — London—NY, 1983.
 Wierzbicka 1984 — Wierzbicka A. Rev. of: G. Leech. Principles of Pragmatics. London—NY, 1983 // Journal of the Australia Linguistic Society. — 1984. — № 1.
 Wierzbicka 1987 — Wierzbicka A. English speech act verbs: a semantic dictionary. — Sydney—NY, 1987. (Цитируется по [Булыгина, Шмелев 1997]).

ХРОНИКА

М. А. Кронгауз

M. A. Kronhaus

Прагматика в современном
лингвистическом мире.
Заметки о пятой прагматической конференции
(Мехико, 4–9 июля 1996 г.) и международной
прагматической ассоциации

Pragmatics in Modern Linguistic World.
Notes on the Fifth Pragmatic Conference
(Mexico, July 4–9, 1996) and on the International
Pragmatics Association

Любому российскому научному работнику очевидно, что поездка в Мексику на конференцию не может быть обычным научным мероприятием. И восемнадцать часов полета (включая двух-трехчасовое сидение в транзитных залах Шеннона и Майами) только укрепляют в этом мнении. Чтобы просто заниматься наукой (даже прагматикой), не обязательно настолько удаляться от дома. Конечно, на пятой прагматической конференции собственно научная сторона — это только один из аспектов происходящего (как, впрочем, случается и на других конференциях). Чтобы объяснить, что такое

прагматическая конференция в целом, нужно несколько слов сказать о ее организаторе.

Международная прагматическая ассоциация (IPrA: International Pragmatics Association) — одно из самых больших и престижных лингвистических объединений. Она создана в 1986 году и сейчас насчитывает более 1200 членов. Ее штаб-квартира находится в Антверпене (Бельгия), там, где работает ее фактический руководитель и постоянный генеральный секретарь Джеф Версхюрен. На период с 1995 по 1998 годы президентом IPrA выбран Ференц Кифер. В консультационный совет входят А. Богуславский, Р. Ван Валин, А. Вежбицкая, Э. Даль, В. Дресслер, Б. Комри, Дж. Лакофф, Дж. Серл, Д. Слобин, Д. Таннен, С. Томпсон, У. Чейф, Э. Щеглов и многие другие. Уже по этому переюню имен видно, насколько широки и разнообразны интересы членов IPrA и самой ассоциации и каким должен быть научный уровень, проводимых ею мероприятий. IPrA имеет свой журнал «Прагматика» («Pragmatics», ранее «IPrA Papers in Pragmatics»), который выходит уже шесть лет с периодичностью 4 номера в год. Раз в 2–3 года IPrA организует весьма представительные международные прагматические конференции (International Pragmatics Conferences). В последнее время, как и многие другие крупные научные организации, IPrA выбирает для своих собраний более или менее экзотические места. После трех европейских конференций пришел черед Кобе (Япония) и Мехико (Мексика).

Прагматические конференции точнее было бы называть съездами или конгрессами, настолько они огромны по количеству докладов и участников. Тематически они чрезвычайно неоднородны, и целью их является не решение или обсуждение какой-то проблемы, а, скорее, демонстрация современного состояния прагматической науки и научной мощи самой IPrA. Объявляемая для обсуждения основная тема (так называемый топик), как правило, формулируется так, чтобы включать в себя практически все что угодно, к тому же оргкомитетом принимаются доклады и на другие темы. Единственное ограничение состоит в том, что докладчик должен быть членом IPrA.

На последнюю пятую конференцию в Мехико было предложено около 500 докладов. Главной «мексиканской» темой была объявля-

на «Беседа» (или «Разговор», оба не вполне адекватные переводы термина «Conversation»). Конференция проходила с 4 по 9 июля 1996 года.

К сожалению, добрались до Мексики далеко не все. В первую очередь, это касалось европейцев. Так, единственным участником из России, кроме меня, был М. Л. Дакаров из Тверского университета (с докладом «Communicative initiative»), и то приехал он не из Твери, а из Амхерста (США), где проходил годичную стажировку. Заочно участвовала в конференции Е. Г. Борисова (Москва), чей стендовый доклад «How can pragmatics help to describe grammar and lexical meanings» был выставлен организаторами в последний день. Больше никого из «русскоязычных» не было, если не считать Н. Игнатъеву, переехавшую в Мексику много лет назад и преподающую в Университете Мехико русский язык (доклад «Emotional deixis: superfluos datives and genitives in Spanish and Russian»), а также славистов-прагматиков Р. Ратмайр (Австрия), сделавшую доклад о выражении вежливости в русской беседе («Explicit and implicit politeness in institutional and private conversations: the example of Russian»), и Л. Гренобль из США (с докладом «Conversational structure and topicality in Russian»). Русский язык был темой еще только одного доклада — моего: «The role of forms of address in conversation». В остальном на конференции царили (в качестве объектов описания) английский, испанский и японский языки. Испанский, из уважения к хозяевам, также считался вторым рабочим языком.

Учитывая размеры конференции (около 500 докладов за 5 рабочих дней), она была разбита на множество секций, так что попасть можно было лишь на небольшую часть докладов. Правда, каждый день открывался одним единственным пленарным докладом. Пленарные доклады сделали Эмануэль Щеглов (США, «Pragmatics, conversation, analysis»), Фернандо Кастаньос (Мексика, «Illocution, dissertation, perlocution» — это было, скорее, сообщение, чем доклад), Ив Кларк (США, «Speakers, words, and perspectives»), Катрин Кербра-Ореккьони (Франция, «A multilevel approach in conversational analysis» — доклад был сделан по-французски), Пенелопа Браун (США, «The conversational context for language acquisition: a Tzeltal (Mayan) case study»).

Бессмысленно стремиться к объективности, пересказывая те доклады (одну энную и крайне незначительную часть всей программы), которые я слышал. Поэтому я ограничусь пересказом нескольких наиболее сильных впечатлений, заранее признавая их субъективность и отчасти случайность.

1. Впечатление первое и вполне научное. Нет почти ничего общего между прагматикой, как ее понимают здесь, и прагматикой, как ее понимают там. Прагматика в российском понимании — это, прежде всего, раздел лингвистики, изучающий слова с прагматической функцией. Прагматика в понимании всего остального мира — дисциплина гораздо более аморфная и не всегда имеющая прямое отношение к той лингвистике, к которой мы привыкли. Иногда она скорее напоминает раздел психологии или социологии. Речь при этом всегда идет об употреблении языка либо в стандартных, либо в достаточно нестандартных условиях. К прагматике же относятся и вопросы, связанные с овладением языком и обучением языку, а также проблемы билингвизма, мультилингвизма и т.д., причем билингвизм также понимается несколько иначе, чем в русской научной традиции. Очень часто (и это приветствуется, а иногда считается необходимым) доклады сопровождаются аудио- и даже видеоматериалами. Видеоматериалы *показывают* потребление языка во время эксперимента, а также в естественных условиях. Причем показ языкового употребления *in vivo* считается более ценным, чем показ просто эксперимента. Использование видеоматериалов в определенном смысле оценивается как новый шаг, приближающий исследователя к объективности, поскольку видеосъемка позволяет фиксировать уже не просто языковое поведение говорящего, а поведение человека во время употребления языка. Изучение этого феномена уже не вполне относится к лингвистике, во всяком случае, в отечественной традиции. Фактически прагматическим подходом к индивидуальному употреблению языка разрушается (или нарушается) граница между лингвистикой и психологией. И аналогичным образом разрушается граница между лингвистикой и социологией. Так, в прагматических исследованиях речь часто идет непосредственно об общественных процессах, происходящих в связи с употреблением языка.

Хорошее представление о направлениях исследования в современной прагматике может дать даже небольшое перечисление тем отдельных секций: общение взрослых с детьми, вежливость и грубость в общении и языке, общение в классной комнате, специфика телефонных разговоров, деловые встречи, насилие и социальная борьба в дискурсе и др. Показательны и темы отдельных докладов. Например, в рамках последней из упомянутых секций обсуждалось использование языка для описания стихийных бедствий пострадавшими от этих бедствий или для описания преступлений самими преступниками и т.п. Причем все это делается на большом фактическом материале, с использованием, как уже говорилось, аудио- и видеоаппаратуры; например, в тюрьме было записано более 100 реальных историй заключенных.

Примечательно также, что самым частотным словом на конференции, звучавшим и в названиях секций, и в названиях докладов, и в самих докладах и дискуссиях было слово «discourse». И конечно же (как уже догадался подготовленный читатель), этот термин означает не совсем то (или совсем не то), что его перевод на русский язык — дискурс. Но это уже тема отдельного разговора.

2. Впечатление второе, околонучное. В мире, оказывается, существует громадное количество лингвистов, и это особенно ощущается, когда они собираются вместе (хотя бы частично). В мире существует громадное количество лингвистических проблем, тем, направлений и т.д. И это особенно ощущается на таких «отчетно-представительских» конференциях. Наконец, в мире существует громадное количество лингвистической литературы. И очень жаль, что у нас она практически неизвестна. Последнее замечание требует некоторого комментария.

Много говорится о различных парадигмах науки, о том что мы плохо знаем современную западную научную литературу, а «они» плохо знают нашу. Эти утверждения, на мой взгляд, не совсем точны. Точнее, было бы сказать, что ни мы, ни они вообще не знаем друг друга (за небольшим исключением, которое, как известно, все только подтверждает). Недавние, но уже классические работы в области теории дискурса или диалога, на которые, например, американец сошлется автоматически, у нас просто неизвестны. На этой

конференции присутствовали крупнейшие лингвистические издательства. Это, прежде всего, John Benjamins и Mouton de Gruyter. Из всего обилия представленных ими на конференции изданий я видел в Москве только две книги Анны Вежбицкой (и то не в библиотеке). Боюсь, других книг в московских (а значит, и российских) библиотеках я и не увижу. Перечислять названия книг, которых читатель не увидит, было бы изощренным издевательством над ним. Упомяну только о блестящей прагматической серии издательства John Benjamins. Самый масштабный проект в рамках этой серии — Handbook of Pragmatics, включающий Manual, Supplement 1995, Supplement 1996 и подразумевающий продолжение. Manual фактически представляет собой энциклопедию с большими статьями об основных теориях и методах семантики и прагматики. Приложение же (Supplement 1995 и 1996) издается в виде жесткой папки со вставными листами, содержащими статьи об основных понятиях прагматики (таких, как билингвизм, речевой акт, межкультурное общение и т.д.), т.е. это также энциклопедия или словарь основных прагматических терминов. Проект рассчитан на несколько лет, и папка-приложение будет пополняться все новыми статьями. Учитывая цену (Manual — \$160, Supplement 1995 — \$97, Supplement 1996 — \$79), можно смело утверждать, что это издание до России не дойдет. А ведь именно оно могло бы отчасти устранить наше незнание современной западной лингвистики.

Что же касается их незнания нашей лингвистики, приведу такой пример. В упомянутом выше Handbook of Pragmatics, составленном более чем профессионально и дающем прекрасный обзор лингвистической науки, российская лингвистика представлена по существу одной статьей. И эта статья — «Marxist linguistics».

3. Впечатление последнее, ненаучное. Мексика непохожа на Россию. В ней есть множество разных вещей, которых здесь, увы, нет: марьячис, такос, пончо, текила и т.д. Но есть нечто, что роднит нас и мексиканцев. Это организация международных конференций. И хотя комментарии, видимо, не требуются, приведу один пример. В Университет Мехико, находящийся на окраине этого огромного города, нас возили на автобусах. В первый день нас предупредили, что автобусы будут отходить от гостиницы ровно в 7.15. Первые три

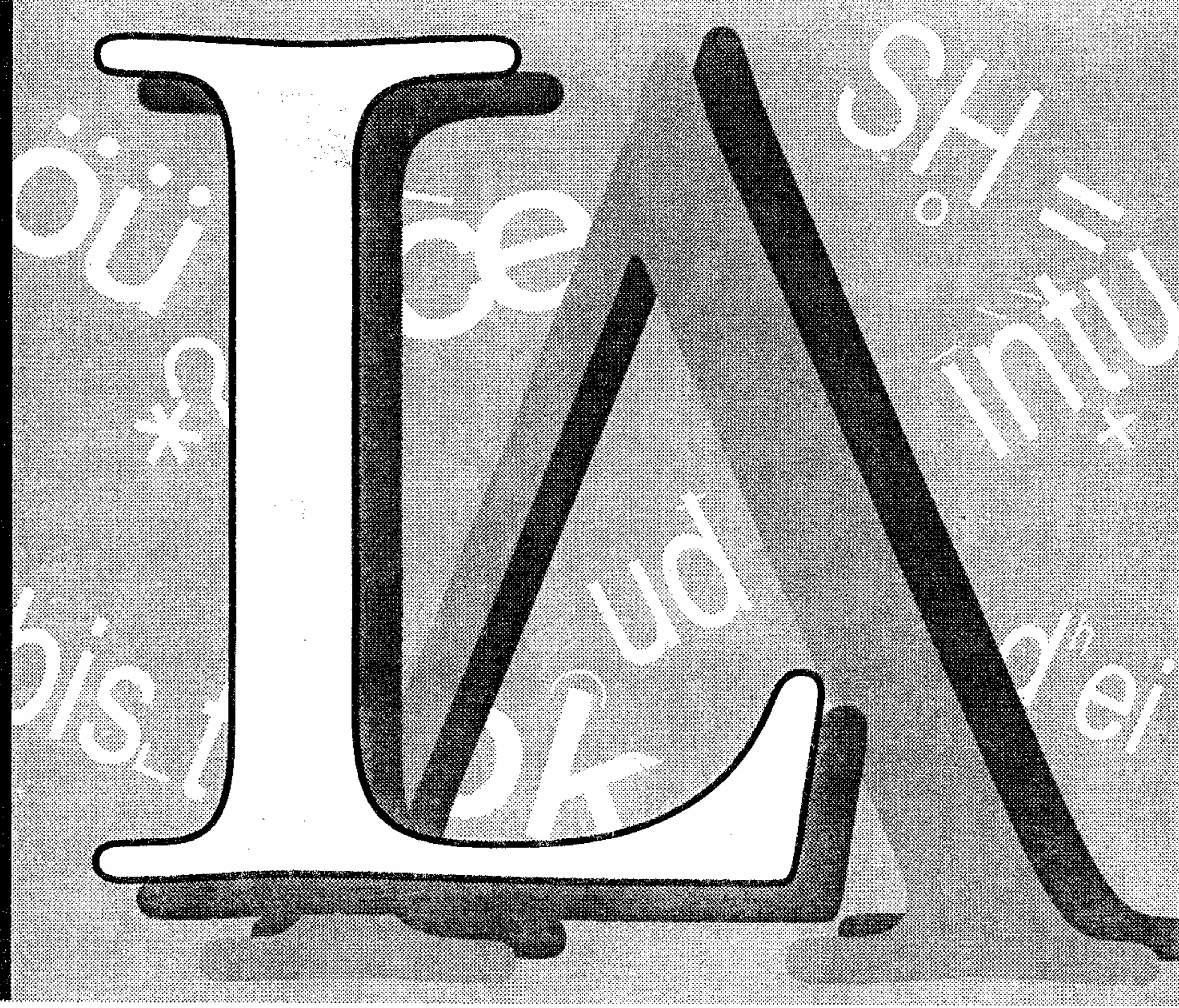
дня я дисциплинированно спускался вниз к этому времени и примерно час в компании других участников ждал автобуса. На четвертый же день, задержавшись за завтраком минут на 10, я с некоторым удивлением узнал, что автобус отошел вовремя, естественно, без большей части участников. Правда, как выяснилось, поездка на метро занимала не намного больше времени, возможно потому, что ни один из шоферов автобуса не знал дороги из центра в университет. Это, а также другие мелкие неприятности, привело к тому, что некоторые коллеги из наиболее развитых стран объявили, что больше никогда не поедут на конференцию в страну развивающуюся. Впрочем, это мнение все же не было всеобщим, и я могу смело закончить свои заметки признанием в том, что лично я ни о чем не жалею: ни о том, что побывал в Мексике, ни о том, что участвовал в прагматической конференции. И то и другое расширяет кругозор.

мет
отд
бос
тел
бо
На
ис
ш
пр
че
ви
ал

ре
в
ж
н
я

с
с
с
г
с
г
г

МОСКОВСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



MOSCOW JOURNAL OF LINGUISTICS

1

9

4

9

8

